

Павел Басинский

ЛЕВ ТОЛСТОЙ: БЕГСТВО ИЗ РАЯ



Ровно 100 лет назад
в Ясной Поляне произошло событие,
которое потрясло весь мир...

Павел Басинский

Лев Толстой: Бегство из рая

«АСТ»

Басинский П. В.

Лев Толстой: Бегство из рая / П. В. Басинский — «АСТ»,

Ровно 100 лет назад в Ясной Поляне произошло событие, которое потрясло весь мир. Восемидесятидвухлетний писатель граф Л.Н. Толстой ночью, тайно бежал из своего дома в неизвестном направлении. С тех пор обстоятельства ухода и смерти великого старца породили множество мифов и легенд... Известный писатель и журналист Павел Басинский на основании строго документального материала, в том числе архивного, предлагает не свою версию этого события, а его живую реконструкцию. Шаг за шагом вы можете проследить всю жизнь и уход Льва Толстого, разобраться в причинах его семейной драмы и тайнах подписания им духовного завещания. Книга иллюстрирована редкими фотографиями из архива музея-усадьбы «Ясная Поляна» и Государственного музея Л.Н. Толстого. Книга удостоена премии «Большая книга».

© Басинский П. В.

© АСТ

Содержание

Глава первая	5
Глаза газет	6
Ночной кошмар	9
Слабость Толстого	14
Слияние с народом	20
«Тоска дорожная, железная...»	25
Глава вторая	29
В гостях как дома	30
Юпитер и бык	34
Почему бежал отец Сергей?	37
Грешник поневоле	40
Граф уходящий	44
Перекасти-поле	50
Глава третья	54
Утопленница	56
(Не)возможность рая	59
Синдром Подколесина	63
Разборчивый жених	65
Чувство оленя	70
Дьявол	72
Берсы	76
Разумеется «да»	87
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Павел Басинский

Лев Толстой: Бегство из рая

Все мы храбримся друг перед другом и забываем, что все мы, если мы только не любим, – жалки, прежалки. Но мы так храбримся и прикидываемся злыми и самоуверенными, что сами попадаемся на это и принимаем больных цыплят за страшных львов...

Из письма Льва Толстого В.Г. Черткову

Глава первая

Уход или бегство?

В ночь с 27 на 28 октября 1910 года¹ в Крапивенском уезде Тульской губернии произошло событие невероятное, из ряда вон выходящее, даже для такого необычного места, как Ясная Поляна, родовое имение знаменитого на весь мир писателя и мыслителя – графа Льва Николаевича Толстого. Восемидесятидвухлетний граф ночью, тайно бежал из своего дома в неизвестном направлении в сопровождении личного врача Маковицкого.

¹ Все даты приводятся по старому стилю. – Здесь и далее примеч. авт.

Глаза газет

Информационное пространство того времени не сильно отличалось от нынешнего. Весть о скандальном событии мгновенно распространилась по России и по всему миру. 29 октября из Тулы в Петербургское телеграфное агентство (ПТА) стали поступать срочные телеграммы, на следующий день перепечатанные газетами. «Получено было поразившее всех известие о том, что Л.Н. Толстой в сопровождении доктора Маковицкого неожиданно покинул Ясную Поляну и уехал. Уехав, Л.Н. Толстой оставил письмо, в котором сообщает, что он покидает Ясную Поляну навсегда».

Об этом письме, написанном Л.Н. для спавшей жены и переданном ей наутро их младшей дочерью Сашей, не знал даже спутник Толстого Маковицкий. Он сам прочитал об этом в газетах.

Оперативнее всех оказалась московская газета «Русское слово». 30 октября в ней был напечатан репортаж собственного тульского корреспондента с подробной информацией о том, что произошло в Ясной Поляне.

«Тула, 29, X *(срочная)*. Возвратившись из Ясной Поляны, сообщаю подробности отъезда Льва Николаевича.

Лев Николаевич уехал вчера, в 5 часов утра, когда еще было темно.

Лев Николаевич пришел в кучерскую и приказал заложить лошадей.

Кучер Адриан исполнил приказание.

Когда лошади были готовы, Лев Николаевич вместе с доктором Маковицким, взяв необходимые вещи, уложенные еще ночью, отправился на станцию Щекино.

Впереди ехал почтарь Филька, освещая путь факелом.

На ст. Щекино Лев Николаевич взял билет до одной из станций Московско-Курской железной дороги и уехал с первым проходившим поездом.

Когда утром в Ясной Поляне стало известно о внезапном отъезде Льва Николаевича, там поднялось страшное смятение. Отчаяние супруги Льва Николаевича, Софьи Андреевны, не поддается описанию».

Это сообщение, о котором на следующий день говорил весь мир, было напечатано не на первой полосе, а на третьей. Первая полоса, как в то время было принято, была отдана рекламе всевозможных товаров.

«Лучший друг желудка вино Сен-Рафаэль».

«Некрупные осетры рыбами. 20 копеек фунт».

Получив ночную телеграмму из Тулы, «Русское слово» тут же отправило своего корреспондента в Хамовнический дом Толстых (сегодня – дом-музей Л.Н. Толстого между станциями метро «Парк Культуры» и «Фрунзенская»). В газете надеялись, что, быть может, граф бежал из Ясной Поляны в московскую усадьбу. Но, пишет газета, «в старом барском доме Толстых было тихо и спокойно. Ничто не говорило о том, что Лев Николаевич мог приехать на старое пепелище. Ворота на запоре. Все в доме спят».

Вдогонку по предполагаемому пути бегства Толстого был отправлен молодой журналист Константин Орлов, театральный рецензент, сын последователя Толстого, учителя и народовольца Владимира Федоровича Орлова, изображенного в рассказах «Сон» и «Нет в мире виноватых». Он настиг беглеца уже в Козельске и тайно сопровождал его до Астапова, откуда сообщил телеграммой Софье Андреевне и детям Толстого, что их муж и отец серьезно болен и находится на узловой железнодорожной станции в доме ее начальника И.И. Озолина.

Если бы не инициатива Орлова, родные узнали бы о местопребывании смертельно больного Л.Н. не раньше, чем об этом сообщили все газеты. Нужно ли говорить, насколько больно это было бы семье? Поэтому, в отличие от Маковицкого, который расценил деятельность «Русского слова» как «сыщицкую», старшая дочь Толстого Татьяна Львовна Сухотина, по ее воспоминаниям, была «до смерти» благодарна журналисту Орлову.

«Отец умирает где-то поблизости, а я не знаю, где он. И я не могу за ним ухаживать. Может быть, я его больше и не увижу. Позволят ли мне хотя бы взглянуть на него на его смертном одре? Бессонная ночь. Настоящая пытка, – впоследствии вспоминала Татьяна Львовна свое и всей семьи душевное состояние после „бегства“ (ее выражение) Толстого. – Но нашелся неизвестный нам человек, который понял и сжалился над семьей Толстого. Он телеграфировал нам: „Лев Николаевич в Астапове у начальника станции. Температура 40°“».

Вообще, надо признать, что по отношению к семье и, прежде всего, к Софье Андреевне газеты вели себя более сдержанно и деликатно, чем в отношении яснополянского беглеца, каждый шаг которого беспощадно отслеживался, хотя все газетчики знали, что в прощальной записке Толстой просил: не искать его! «Пожалуйста... не ездите за мной, если и узнаете, где я», – писал он жене.

«В Белеве Лев Николаевич выходил в буфет и съел яичницу», – смаковали газетчики скромный поступок вегетарианца Толстого. Они допрашивали его кучера и Фильку, лакеев и крестьян Ясной Поляны, кассиров и буфетчиков на станциях, извозчика, который вез Л.Н. из Козельска в Оптинский монастырь, гостиничных монахов и всех, кто мог что-нибудь сообщить о пути восьмидесятидвухлетнего старца, единственным желанием которого было убежать, скрыться, стать невидимым для мира.

«Не ищите его! – цинично восклицали „Одесские новости“, обращаясь к семье. – Он не ваш – он всех!»

«Разумеется, его новое местопребывание очень скоро будет открыто», – хладнокровно заявляла «Петербургская газета».

Л.Н. не любил газеты (хотя следил за ними) и не скрывал этого. Иное дело – С.А. Жена писателя прекрасно понимала, что реноме мужа и ее собственное реноме, волей-неволей, складываются из газетных публикаций. Поэтому она охотно общалась с газетчиками и давала интервью, разъясняя те или иные странности поведения Толстого или его высказываний и не забывая при этом (в этом была ее слабость) обозначить и свою роль при великом человеке.

Поэтому отношение газетчиков к С.А. было, скорее, теплым. Общий тон задавало «Русское слово» фельетоном Власа Дорошевича «Софья Андреевна», помещенным в номере от 31 октября. «Старый лев ушел умирать в одиночестве, – писал Дорошевич. – Орел улетел от нас так высоко, что где нам следить за полетом его?!»

(Следили, да еще как следили!)

С.А. он сравнивал с Ясодарой, молодой женой Будды. Это был несомненный комплимент, потому что Ясодара была ни в чем не повинной в уходе своего мужа. Между тем злые языки сравнивали жену Толстого не с Ясодарой, а с Ксантиппой, супругой греческого философа Сократа, которая будто бы изводила мужа сварливостью и непониманием его мировоззрения.

Дорошевич справедливо указывал на то, что без жены Толстой не прожил бы такой долгой жизни и не написал бы своих поздних произведений. (Хотя при чем тут Ясодара?)

Вывод фельетона был такой. Толстой – это «сверхчеловек», и его поступок нельзя судить по обычным нормам. С.А. – простая земная женщина, которая делала всё, что могла, для своего мужа, пока он был просто человеком. Но в «сверхчеловеческой» области он для нее недосягаем, и в этом ее трагедия.

«Софья Андреевна одна. У нее нет ее ребенка, ее старца-ребенка, ее титана-ребенка, о котором надо думать, каждую минуту заботиться: тепло ли ему, сыт ли он, здоров ли он? Некому больше отдавать по капельке всю свою жизнь».

С.А. читала фельетон. Он ей понравился. Она была благодарна газете «Русское слово» и за статью Дорошевича, и за телеграмму Орлова. Из-за этого можно было не обращать внимания на мелочи, вроде неприятного описания внешнего вида жены Толстого, которое дал тот же Орлов: «Блуждающие глаза Софьи Андреевны выражали внутреннюю муку. Голова ее тряслась. Одета она была в небрежно накинутый капот». Можно было простить и ночную слежку за московским домом, и весьма неприличное указание на сумму, которую потратила семья, чтобы нанять отдельный поезд от Тулы до Астапова – 492 рубля 27 копеек, и прозрачный намек Василия Розанова на то, что Л.Н. убежал всё-таки от семьи: «Узник ушел из деликатной темницы».

Пробежав по заголовкам газет, освещавших уход Толстого, мы обнаружим, что слово «уход» в них встречалось редко. «ВНЕЗАПНЫЙ ОТЪЕЗД...», «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ...», «БЕГСТВО...», «TOLSTOY QUITTS HOME» («ТОЛСТОЙ ПОКИДАЕТ ДОМ»).

И дело здесь отнюдь не в желании газетчиков «подогреть» читателей. Событие само по себе было скандальным. Дело в том, что обстоятельства исчезновения Толстого из Ясной, действительно, куда больше напоминали бегство, чем величественный уход.

Ночной кошмар

Во-первых, событие случилось ночью, когда графиня крепко спала.

Во-вторых, маршрут Толстого был столь тщательно засекречен, что впервые о его местонахождении она узнала только 2 ноября из телеграммы Орлова.

В-третьих (о чем не знали ни газетчики, ни С.А.), маршрут этот, во всяком случае, его конечная цель, были неведомы самому беглецу. Толстой ясно представлял себе, откуда и от чего он бежит, но куда направляется и где будет его последнее пристанище, он не только не знал, но старался об этом не думать.

В первые часы отъезда только дочь Толстого Саша и ее подруга Феокритова знали, что Л.Н. намеревался посетить свою сестру, монахиню Марию Николаевну Толстую в Шамординском монастыре. Но и это в ночь бегства стояло под вопросом.

«Ты останешься, Саша, – сказал он мне. – Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке в Шамордино», – вспоминала А.Л. Толстая.

Разбудив ночью первым доктора Маковицкого, Толстой не сообщил ему даже этой информации. Но главное – не сказал врачу, что уезжает из Ясной Поляны навсегда, о чем сказал Саше. Маковицкий в первые часы думал, что они едут в Кочеты, имение зятя Толстого М.С. Сухотина на границе Тульской и Орловской губерний. Толстой не раз выезжал туда последние два года, один и с женой, спасаясь от наплыва посетителей Ясной Поляны. Там он брал, как он выражался, «отпуск». В Кочетах жила его старшая дочь – Татьяна Львовна. Она, в отличие от Саши, не одобряла желания отца уйти от матери, хотя и стояла в их конфликте на стороне отца. В любом случае, в Кочетах от С.А. было не скрыться. Появление же в Шамордине было менее вычислимо. Приезд в православный монастырь отлученного от церкви Толстого был поступком не менее скандальным, чем сам уход. И наконец, там Толстой вполне мог рассчитывать на поддержку и молчание сестры.

Бедный Маковицкий не сразу понял, что Толстой решил уехать из дома навсегда. Думая, что они отправляются на месяц в Кочеты, Маковицкий не взял с собой всех своих денег. Не знал он и о том, что состояние Толстого в момент бегства исчислялось пятидесятью рублями в записной книжке и мелочью в кошельке. Только во время прощания Толстого с Сашей Маковицкий услышал о Шамордине. И только когда они сидели в коляске, Толстой стал советоваться с ним: куда бы подальше уехать?

Он знал, кого брать с собой в спутники. Надо было обладать невозмутимой натурой и преданностью Маковицкого, чтобы не растеряться в этой ситуации. Маковицкий немедленно предложил ехать в Бессарабию, к рабочему Гусарову, который жил с семьей на своей земле. «Л.Н. ничего не ответил».

Поехали на станцию Щекино. Через двадцать минут ожидался поезд на Тулу, через полтора часа – на Горбачево. Через Горбачево в Шамордино путь короче, но Толстой, желая запутать следы и опасаясь, что С.А. проснется и настигнет его, предложил ехать через Тулу. Маковицкий отговорил: уж в Туле-то их точно узнают! Поехали на Горбачево...

Согласитесь, это мало похоже на уход. Даже если понимать это не буквально (ушел пешком), а в переносном смысле. Но именно буквальное представление об уходе Толстого и по сей день греет души обывателей. Непременно – пешком, темной ночью, с котомкой за плечами и палкой в руке. И это – восьмидесятидвухлетний старик, хотя и крепкий, но очень больной, страдавший обмороками, провалами памяти, сердечными перебоями и расширением вен на ногах. Что было бы прекрасного в таком «уходе»? Но обывателю почему-то приятно вообразить, что великий Толстой вот так просто взял и ушел.

В книге Ивана Бунина «Освобождение Толстого» с восхищением цитируются слова, написанные Толстым в прощальном письме: «Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и в тиши последние дни своей жизни».

Обыкновенно делают старики?

С.А. тоже обратила внимание на эти слова. Едва оправившись от первого шока, вызванного ночным бегством мужа, она стала писать ему письма с мольбами вернуться, рассчитывая на посредничество в их передаче третьих лиц. И вот во втором письме, которое Толстой не успел прочитать, она возражала ему: «Ты пишешь, что старики уходят из мира. Да где ты это видал? Старики крестьяне доживают на печке, в кругу семьи и внуков свои последние дни, то же и в барском и всяком быту. Разве естественно слабому старику уходить от ухода, забот и любви окружающих его детей и внуков?»

Она была права. Уход стариков и даже старух был обыкновенным делом в крестьянских домах. Уходили на богомолье и просто – в отдельные избушки. Уходили доживать свой век, чтобы не мешать молодым, не быть попрекаемым лишним куском, когда участие старого человека в полевых и домашних работах было уже невозможным. Уходили, когда в доме «поселялся грех»: пьянство, раздоры, неестественные половые связи. Да, уходили. Но не бежали ночью от старой жены с согласия и при поддержке дочери.

Вернемся в роковую ночь с 27 на 28 октября и проследим шаг за шагом, как уходил Толстой.

Записки Маковицкого:

«Утром, в 3 ч., Л.Н. в халате, в туфлях на босу ногу, со свечой, разбудил меня; лицо страдальческое, взволнованное и решительное.

– Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать – самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно».

«Решительное» лицо не означало хладнокровия. Это решительность перед прыжком с обрыва. Как врач, Маковицкий отмечает: «Нервен. Пощупал ему пульс – 100». Какие вещи «самые нужные» для ухода восьмидесятидвухлетнего старика? Толстой думал об этом меньше всего. Он был обеспокоен тем, чтобы Саша спрятала от С.А. рукописи его дневников. Он взял с собой самопишущее перо, записные книжки. Вещи и провизию укладывали Маковицкий, Саша и ее подруга Варвара Феофановна. Оказалось, что «самых нужных» вещей всё-таки набралось много, потребовался большой дорожный чемодан, который нельзя достать без шума, не разбудив С.А.

Между спальнями Толстого и его жены было три двери. С.А. держала их ночью открытыми, чтобы проснуться на любой тревожный сигнал из комнаты мужа. Она объясняла это тем, что если ночью ему потребуется помощь, через закрытые двери она не услышит. Но главная причина была в другом. Она боялась его ночного бегства. С некоторых пор эта угроза стала реальной. Можно даже точно назвать дату, когда она повисла в воздухе яснополянского дома. Это случилось 15 июля 1910 года. После бурного объяснения с мужем С.А. провела бессонную ночь и утром написала ему письмо:

«Левочка, милый, пишу, а не говорю, потому что после бессонной ночи мне говорить трудно, я слишком волнуюсь и могу опять всех расстроить, а я хочу, ужасно хочу быть тиха и благоразумна. Ночью я всё обдумывала, и вот что мне стало мучительно ясно: одной рукой ты меня приласкал, в другой показал нож. Я еще вчера смутно почувствовала, что этот нож уж поранил мое сердце. Нож этот – это угроза, и очень решительная, взять слово обещания назад и тихонько от меня уехать, если я буду такая, как теперь... Значит,

всякую ночь, как прошлую, я буду прислушиваться, не уехал ли ты куда? Всякое твое отсутствие, хотя слегка более продолжительное, я буду мучиться, что ты уехал навсегда. Подумай, милый Левочка, ведь твой отъезд и твоя угроза равняются угрозе убийства».

Когда Саша, Варвара и Маковицкий собирали вещи (действовали, «как заговорщики», вспоминала Феокритова, тушили свечи, заслышав любой шум со стороны комнаты С.А.), Толстой плотно закрыл все три двери, ведущие в спальню жены, и всё-таки без шума достал чемодан. Но и его оказалось недостаточно, получился еще узел с пледом и пальто, корзина с провизией. Впрочем, окончания сборов Толстой не дождался. Он спешил в кучерскую разбудить кучера Андриана и помочь ему запрячь лошадей.

Уход? Или – бегство...

Из дневника Толстого:

«...иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь – глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чашу, накалываясь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя... Я дрожу, ожидая погони».

То, что спустя сутки, когда писались эти строки, представлялось ему «чащей», из которой он «насилу» выбрался, был его яблоневоый сад, исхоженный Толстым вдоль и поперек.

Обыкновенно поступают старики?

«Укладывали вещи около получаса, – вспоминала Александра Львовна. – Отец уже стал волноваться, торопил, но руки у нас дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались».

Александра Львовна тоже заметила решимость в лице отца. «Я ждала его ухода, ждала каждый день, каждый час, но тем не менее, когда он сказал: „я уезжаю совсем“, меня это поразило, как что-то новое, неожиданное. Никогда не забуду его фигуру в дверях, в блузе, со свечой и светлое, прекрасное, полное решимости лицо».

«Лицо решительное и светлое», – писала Феокритова. Но не будем обольщаться. Глубокая октябрьская ночь, когда в сельских домах, неважно, крестьянских или барских, не видно собственной руки, если поднести ее к глазам. Старик в светлой одежде, со свечой у лица, внезапно возникший на пороге. Это поразит кого угодно!

Конечно, сила духа Толстого была феноменальной. Но это больше говорит о его способности не теряться ни при каких обстоятельствах. Друг яснополянского дома музыкант Александр Гольденвейзер вспоминал один случай. Как-то зимой они поехали в санках в деревню в девяти верстах от Ясной передать помощь нуждавшейся крестьянской семье.

«Когда мы подъезжали к станции Засека, начиналась небольшая метель, которая становилась все сильнее, так что в конце концов мы сбились с пути и ехали без дороги. Поплутав немного, мы заметили невдалеке лесную сторожку и направились к ней, дабы расспросить у лесничего, как выбраться на дорогу. Когда мы подъехали к сторожке, на нас выскочили три-четыре огромные овчарки и с бешеным лаем окружили лошадь и сани. Мне, признаться сказать, стало жутко... Л.Н. решительным движением передал мне вожжи и сказал: „Подержите“, – а сам встал, вышел из саней, громко гикнул и с пустыми руками смело пошел прямо на собак. И вдруг страшные собаки сразу затихли, расступились и дали ему дорогу, как власть имущему. Л.Н. спокойно прошел между ними и вошел в сторожку. В эту минуту он со своей развевающейся

седой бородой больше похож был на сказочного героя, чем на слабого восьмидесятилетнего старика...»

Вот и в ночь на 28 октября 1910 года самообладание не покинуло его. Шедших с вещами помощников он встретил на полдороге. «Было грязно, ноги скользили, и мы с трудом продвигались в темноте, – вспоминала Александра Львовна. – Около флигеля замелькал синенький огонек. Отец шел нам навстречу.

– Ах, это вы, – сказал он, – ну, на этот раз я дошел благополучно. Нам уже запрягают. Ну, я пойду вперед и буду светить вам. Ах, зачем вы дали Саше самые тяжелые вещи? – с упреком обратился он к Варваре Михайловне. Он взял из ее рук корзину и понес ее, а Варвара Михайловна помогла мне тащить чемодан. Отец шел впереди, изредка нажимая кнопку электрического фонаря и тотчас же отпуская ее, отчего казалось еще темнее. Отец всегда экономил и тут, как всегда, жалел тратить электрическую энергию».

Этот фонарик уговорила взять его Саша после блуждания отца в саду.

Всё же когда Толстой помогал кучеру запрягать лошадь, «руки его дрожали, не слушались, и он никак не мог застегнуть пряжку». Потом «сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом».

Резкие перепады настроения будут сопровождать Толстого на всем пути следования от Ясной до Астапова, где он скончался в ночь на 7 ноября 1910 года. Решительность и сознание того, что поступил единственно правильным образом, будут сменяться безволием и острейшим чувством вины. Как бы он ни готовился к этому уходу, а он готовился к нему двадцать пять (!) лет, понятно, что ни душевно, ни физически он не был к нему готов. Можно было сколько угодно представлять этот уход в голове, но первые же реальные шаги, вроде блуждания в собственном саду, преподносили неожиданности, к которым Толстой и его спутники не были готовы.

Но почему его решительное настроение в доме вдруг поменялось на упадок духа в каретном сарае? Казалось бы, вещи собраны (за два часа – просто поразительно!), лошади почти готовы, и до «освобождения» осталось несколько минут. А он падает духом.

Кроме физиологических причин (не выспался, волновался, заблудился, помогал нести вещи по скользкой дорожке в темноте) есть и еще одно обстоятельство, которое можно понять, только отчетливо представляя себе ситуацию в целом. Проснись С.А., когда они собирали вещи, это был бы оглушительный скандал. Но все-таки скандал внутри домашних стен. Сцена среди «посвященных». К таким сценам было не привыкать, в последнее время они постоянно происходили в яснополянском доме. Но по мере отдаления Толстого от домашнего очага в его уход вовлекались новые и новые лица. Происходило именно то, чего он больше всего не хотел. Толстой оказался комком снега, вокруг которого наворачивался грандиозный снежный ком, и это происходило с каждой минутой его перемещения в пространстве.

Невозможно уехать, не разбудив кучера Андриана Болхина. И еще нужен конюх, тридцатитрехлетний Филька (Филипп Борисов), чтобы, сидя верхом на лошади, освещать перед коляской дорогу факелом. Когда Л.Н. находился в каретном сарае, снежный ком уже начал расти, расти, и остановить его с каждой минутой было всё невозможнее. Еще безмятежно спали жандармы, газетчики, губернаторы, священники... Еще и сам Толстой не мог представить, сколько людей станут вольными и невольными соучастниками его бегства, вплоть до министров, главных архиереев, Столыпина и Николая II.

Разумеется, он не мог не понимать, что исчезнуть из Ясной Поляны незаметно у него не получится. Исчезнуть незаметно не смог даже Федя Протасов в «Живом трупе», который имитировал самоубийство, но, в конце концов, был разоблачен. Но не будем забывать, что кроме «Живого трупа» он написал «Отца Сергия» и «Посмертные записки старца Федора Кузмича». И если в момент ухода его грела какая-то мысль, то вот эта: знаменитый человек, исчезая, растворяется в людском пространстве, становится одним из малых сих, незаметным для всех.

Легенда о нем существует отдельно, а он – отдельно. И неважно, кто ты был в прошлом: русский царь, знаменитый чудотворец или великий писатель. Важно, что здесь и теперь ты самый простой и обыкновенный человек.

Когда Толстой сидел на чемодане в каретном сарае, в старом армяке, надетом на ватную поддевку, в старой вязаной шапочке, он был, казалось, полностью снаряжен для осуществления своей заветной мечты. Но... Это время, 5 часов утра, «между волком и собакой». Этот промозглый конец октября – самое отвратительное русское межсезонье. Это невыносимое томление ожидания, когда начало ухода положено, родные стены покинуты и назад, в общем, пути уже нет, но... Лошади еще не готовы, Ясная Поляна еще не покинута... А жена, с которой он прожил сорок восемь лет, которая родила ему тринадцать детей, из которых семеро живы, от которых родилось двадцать три внука, на плечи которой он взвалил всё яснополянское хозяйство, все свои издательские дела по художественным сочинениям, которая по нескольку раз переписывала частями два его главных романа и множество других работ, которая не спала ночами в Крыму, где он умирал девять лет назад, ибо никто, кроме нее, не мог осуществлять за ним самый интимный уход, – этот родной человек может в любую секунду проснуться, обнаружить закрытые двери, беспорядок в его комнате и понять, что то, чего она больше всего на свете боялась, свершилось!

Но свершилось ли? Не надо обладать пылким воображением, чтобы представить появление С.А. в каретном сарае, когда ее муж дрожащими руками застегивал пряжку на лошади. Это уже не толстовская, а чисто гоголевская ситуация. Недаром Толстой и любил и не любил повесть Гоголя «Коляска», в которой уездный аристократ Пифагор Пифагорович Чертокуцкий спрятался от гостей в каретном сарае, но был конфузнейшим образом разоблачен. Он считал эту вещь превосходно написанной, но нелепой шуткой. Между тем «Коляска» – совсем не смешная вещь. Визит генерала в каретный сарай, где маленький Чертокуцкий сжался на сиденье под кожаным пологом, это ведь визит самой Судьбы, настигающей человека именно в тот момент, когда он менее всего к этому готов. Как он жалок и беспомощен перед ней!

Воспоминания Саши:

«Сначала отец торопил кучера, а потом сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом:

– Я чувствую, что вот-вот нас настигнут, и тогда всё пропало. Без скандала уже не уехать».

Слабость Толстого

Многое в настроении Толстого и в момент бегства, и до него, и потом объясняется еще и такой простой вещью, как деликатность. Творец, философ, «матерый человечище», Толстой по природе своей оставался старинным русским баринoм, в самом прекрасном смысле слова. В этот многосложный и, увы, давно утраченный душевный комплекс входили такие понятия, как моральная и физическая чистоплотность, невозможность лгать в глаза, злословить о человеке в его отсутствие, боязнь задеть чьи-то чувства неосторожным словом и просто быть чем-то неприятным для людей. В молодости, из-за необузданности ума и характера, Толстой много погрешил против этих врожденных и воспитанных в семье душевных качеств и сам страдал от этого. Но к старости, кроме благоприобретенных принципов любви и сострадания к людям, в нем все больше проявлялось неприятие гадкого, грязного, скандального.

На протяжении всего конфликта с женой Толстой был почти безупречен. Он ее жалел, пресекал любые попытки злословить на ее счет, даже когда знал справедливость этих слов. Он подчинялся, насколько возможно и даже невозможно, ее требованиям, порой самым нелепым, терпеливо выносил все ее выходки, порой чудовищные, вроде шантажа самоубийством. Но в сердцевине этого поведения, которое удивляло и даже раздражало его сторонников, были не отвлеченные принципы, а натура старого барина, да просто прекрасного старика, который болезненно переживает любую ссору, раздор, скандал.

И вот этот старик тайно ночью совершает поступок, страшнее которого для его жены быть не может. Это даже не нож, о котором писала С.А. Это топор!

Поэтому самым сильным чувством, которое испытывал Толстой в каретном сарае, был страх. Страх, что жена проснется, выбежит из дома и застигнет его на чемодане, возле все еще не готового экипажа... И – не избежать скандала, мучительной, душераздирающей сцены, которая станет *crescendo* того, что происходило в Ясной Поляне последнее время.

Он никогда не бежал от трудностей... В последние годы, напротив, благодарил Бога, когда Он посылал ему испытания. Со смиренным сердцем принимал любые «неприятности». Радовался, когда его осуждали. Но сейчас он страстно хотел, чтобы его «миновала чаша сия».

Это было выше его сил.

Да, уход Толстого был проявлением не только силы, но и слабости. В этом он откровенно признался старенькой подруге и confidentке Марии Александровне Шмидт, бывшей классной даме, уверовавшей в Толстого, как в нового Христа, самой искренней и последовательной «толстовке», жившей в избе в Овсянниках, в шести верстах. Толстой часто навещал ее во время конных прогулок, зная, что эти посещения не просто доставляют ей радость, но являются для нее смыслом жизни. Он советовался с ней по духовным вопросам и 26 октября, за два дня до ухода, рассказал о еще неокончателъном решении уйти. Мария Александровна всплеснула руками:

– Душенька, Лев Николаевич! – сказала она. – Это слабость, это пройдет.

– Да, – ответил он, – это слабость.

Этот разговор со слов Марии Александровны приводит в своих воспоминаниях Татьяна Львовна Сухотина. В дневнике Маковицкого, сопровождавшего Л.Н. на прогулке 26 октября, этого диалога нет. Да и сама Мария Александровна в беседе с корреспондентом «Русского слова» утверждала, что в тот день о своем уходе Л.Н. не говорил ей «ни слова». Это была очевидная неправда, объясняемая ее нежеланием выносить сор из избы (да еще и не своей избы) и открывать перед всем миром семейный конфликт Толстых. В тайном «Дневнике для одного себя» Толстого есть запись от 26 октября: «Всё больше и больше тягочусь этой жизнью. Марья Александровна не велит уезжать, да и мне совесть не дает».

Маковицкий 26 октября тоже заметил, что «Л.Н. слаб» и рассеян. По дороге к Шмидт Толстой совершает «дурной», по его собственному выражению, поступок: проехал на лошади через «зеленя» (озимые), а этого нельзя делать в грязь, потому что лошадь оставляет глубокие следы и губит нежную зелень.

Хочется воскликнуть: «зеленя» пожалел, а старую жену – нет?! К сожалению, это типичный путь осуждения Толстого. Так рассуждают люди, которые видят в бегстве Толстого поступок «матерого человечища» и соотносят его со своими «человеческими, слишком человеческими» представлениями о семье. Сильный Толстой ушел от слабой, не совпадавшей с ним в духовном развитии жены. Дело понятное, на то он и гений, но С.А., конечно, жаль! Как опасно выходить замуж за гениев.

Эта распространенная точка зрения, как ни странно, почти совпадает с той, которая культивируется в интеллектуальной среде и, с легкой руки Ивана Бунина, стала модной.

Толстой ушел, чтобы умереть. Это был акт освобождения духовного титана из мучившего его материального плена. «Освобождение Толстого». Как красиво! Сниженный вариант: как сильное животное, ощущая приближение смерти, уходит из стаи, так Толстой, чувствуя приближение неотвратимого конца, бросился из Ясной Поляны. Тоже красивая языческая версия, которую в первые дни ухода озвучил в газетах Александр Куприн.

Но поступок Толстого не был действиями титана, решившегося на грандиозный символический жест. И тем более это не было рывком старого, но сильного зверя. Это был поступок слабого больного старика, который мечтал об уходе двадцать пять лет, но, пока были силы, не позволял себе этого, потому что считал это жестоким по отношению к жене. А вот когда сил уже не оставалось, а семейные противоречия достигли высшей точки кипения, он не увидел другого выхода ни для себя, ни для окружающих. Он ушел в тот момент, когда физически совсем не был готов к этому. Когда на дворе стоял глухой конец октября. Когда ничего не было приготовлено и даже самые горячие сторонники ухода, вроде Саши, не представляли себе, что такое оказаться в «чистом поле» старику. Именно тогда, когда его уход почти неминуемо означал верную смерть, у Толстого больше не осталось сил находиться в Ясной Поляне.

Ушел, чтобы умереть? Это объяснение выдвинул профессор В.Ф. Снегирев, знаменитый акушер, лечивший С.А. и сделавший ей срочную операцию прямо в яснополянском доме. Он был не только прекрасным медиком, но необыкновенно умным и деликатным человеком. Желая ободрить и утешить свою пациентку, на которую после смерти мужа посыпались обвинения, что это она довела его до бегства и могилы, он 10 апреля 1911 года, в Светлое Воскресенье, написал ей пространное письмо, где пытался назвать объективные и внесемейные причины ухода Толстого. Этих причин он видел две.

Первая. Уход Толстого был сложной формой самоубийства. Во всяком случае, подсознательным ускорением процесса смерти.

«В продолжение почти всей своей жизни он одинаково обрабатывал, воспитывал дух и тело свое и при своей неутолимой энергии и дарованиях воспитал их одинаково сильно, крепко связал их и слил: где кончалось тело и где начинался дух, – сказать невозможно. Тот, кто вглядывался в его походку, поворот головы, посадку, тот ясно видел *всегда* сознательность движений: т. е. каждое движение было выработано, разработано, осмыслено и выражало идею... При смерти такого слитного сочетания духа и тела, отрыв, отхождение духа от тела не могло и не может совершиться тихо, спокойно, как это бывает у людей, у которых разрыв души и тела совершился давно... Чтобы совершить такое разъединение, надо сделать *непомерное* усилие над телом...»

Другое объяснение Снегирева было сугубо медицинское. Толстой умер от воспаления легких. «Эта инфекция иногда сопровождается даже маниакальными припадками, – писал

Снегирев. – Не было ли бегство ночное совершено в одном из таких припадков, ибо инфекция иногда проявляется только за несколько дней до болезни, т. е. организм ранее местного процесса уже отравлен. Поспешность и блуждание во время путешествий вполне согласуются с этим...»

Иными словами, Толстой был уже болен в ночь ухода, и инфекционное отравление воздействовало на его мозг.

Не будем гадать, насколько Снегирев писал как врач и насколько хотел просто утешить бедную С.А. Очевидно одно: накануне и в ночь бегства Толстой был душевно и физически слаб. Это подтверждается и записками Маковицкого, и дневником Л.Н. Ему снились «дурные», путанные сны... В одном из них происходила какая-то «борьба с женой», в другом – переплелись герои романа Достоевского «Братья Карамазовы», который он в это время читал, и реальные, но уже покойные люди, вроде Н.Н. Страхова.

Менее чем за месяц до ухода он едва не умер. То, что случилось 3 октября, было очень похоже на настоящий конец, вплоть до смертных судорог и *обира*ния (характерные движения руками перед смертью). Вот как описывает этот эпизод последний секретарь Толстого Валентин Булгаков:

«Лев Николаевич заспался, и, прождав его до семи часов, сели обедать без него. Разлив суп, Софья Андреевна встала и еще раз пошла послушать, не встает ли Лев Николаевич. Вернувшись, она сообщила, что в тот момент, как она подошла к двери спальни, она услышала чирканье о коробку зажигаемой спички. Вошла к Льву Николаевичу. Он сидел на кровати. Спросил, который час и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Льва Николаевича показались ей странными:

– Глаза бессмысленные... Это – перед припадком. Он впадает в забытие... Я уж знаю. У него всегда перед припадком такие глаза бывают».

Скоро в комнате Толстого собрались сын Сергей Львович, слуга Илья Васильевич, Маковицкий, Булгаков и первый биограф Толстого П.И. Бирюков.

«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Лев Николаевич слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насулены, губы шевелились, точно он что-то переживал... Потом... потом начались один за другим странные припадки судорог, от которых всё тело человека, беспомощно лежавшего в постели, билось и трепетало. Выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удержать их. Душан (Маковицкий. – П.Б.) обнимал Льва Николаевича за плечи, я и Бирюков растирали ноги. Всех припадков было пять. Особенной силой отличался четвертый, когда тело Льва Николаевича перекинулось почти совсем поперек кровати, голова скатилась с подушки, ноги свесились по другую сторону.

Софья Андреевна кинулась на колени, обняла эти ноги, припала к ним головой и долго оставалась в таком положении, пока мы не уложили вновь Льва Николаевича как следует на кровати.

Вообще Софья Андреевна производила страшно жалкое впечатление. Она поднимала сверху глаза, торопливо крестилась мелкими крестами и шептала: „Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!..“ И она делала это не перед другими: случайно войдя в „ремингтонную“, я застал ее за этой молитвой».

После судорог Л.Н. начал бредить, точно так же, как он будет бредить в Астапове перед смертью, произнося бессмысленный набор чисел:

– Четыре, шестьдесят, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять...

«Поведение С.А. во время этого припадка было трогательно, – вспоминал Бирюков. – Она была жалка в своем страхе и унижении. В то время, как мы, мужчины, держали Л. Н. ча, чтобы судороги не сбросили его с кровати, она бросалась на колени у кровати и молилась страстной молитвой, приблизительно такого содержания: „Господи, спаси меня, прости меня, Господи, не дай ему умереть, это я довела его до этого, только бы не в этот раз, не отнимай его, Господи, у меня“».

В том, что С.А. чувствовала себя виноватой во время припадка Л.Н., призналась и она сама в дневнике:

«Когда, обняв дергающиеся ноги моего мужа, я почувствовала то крайнее отчаяние при мысли потерять его, – раскаяние, угрызение совести, безумная любовь и молитва со страшной силой охватили всё мое существо. Всё, всё для него – лишь бы остался хоть на этот раз жив и поправился бы, чтоб в душе моей не осталось угрызения совести за все те беспокойства и волнения, которые я ему доставила своей нервностью и своими болезненными тревогами».

Незадолго до этого она страшно поругалась с Сашей и Феофритовой и фактически выгнала дочь из дома. Саша переехала в Телятники, близ Ясной Поляны, в собственный дом. Толстой тяжело переживал разлуку с Сашей, которую он любил и которой доверял больше всех родных. Она была его бесценной помощницей и секретарем наравне с Булгаковым. Разрыв матери с дочерью стал одной из причин припадка. Они поняли это и помирились на следующий день.

Воспоминания Саши:

«Спустившись в переднюю, я узнала, что меня ищет мать.
– Где она?
– На крыльце.
Выхожу, стоит мать в одном платье.
– Ты хотела говорить со мной?
– Да, я хотела сделать еще один шаг к примирению. Прости меня!
И она стала целовать меня, повторяя: прости, прости! Я тоже поцеловала ее и просила успокоиться...
Мы говорили, стоя на дворе. Какой-то прохожий с удивлением смотрел на нас. Я попросила мать войти в дом».

Задумаемся: не является ли версия, что Толстой ушел, чтобы умереть, не только неосновательным, но и очень жестоким мифом? Почему бы не повернуть зрачок, не поставить в нормальное положение и не взглянуть на этот вопрос так, как на него смотрел Л.Н. Ушел, чтобы не умереть. А если умереть, то не в результате очередного припадка.

Страх, что С.А. настигнет его, был не только нравственным переживанием, но и просто страхом. Этот страх проходил по мере того, как Толстой удалялся от Ясной, хотя при этом голос совести не умолкал в нем.

Когда они с Маковицким, наконец, выехали из усадьбы и деревни на шоссе, Л.Н., как пишет врач, «до сих пор молчавший, грустный, взволнованным, прерывающимся голосом сказал, как бы жалуясь и извиняясь, что не выдержал, что уезжает тайком от Софьи Андреевны». И тут же задал вопрос:

– Куда бы подальше уехать?

Когда они сели в отдельное купе вагона 2 класса «и поезд тронулся, он почувствовал себя, вероятно, уверенным, что Софья Андреевна не настигнет его; радостно сказал, что ему хорошо». Но согретьшись и выпив кофе, вдруг сказал:

– Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.

Этот вопрос будет мучить его до последних сознательных мгновений жизни. И те, кто представляют себе нравственный облик позднего Толстого, хорошо понимают, что никакого оправдания ухода для него не было. Нравственно, с его точки зрения, было нести свой крест до конца, а уход был освобождением от креста. Все разговоры о том, что Толстой ушел, чтобы умереть, чтобы слиться с народом, чтобы освободить бессмертную душу, справедливы для его двадцатипятилетней мечты, но не для конкретной нравственной практики. Эта практика исключала эгоистическое следование мечте в ущерб живым людям.

Это терзало его на всем пути от Ясной до Шамордина, когда еще можно было переменить решение и вернуться. Но он не только не переменял решения и не вернулся, а бежал всё дальше и дальше, подгоняя своих спутников. И это его поведение – главная загадка.

Какой-то ответ на нее мы найдем в трех письмах Толстого к жене, написанных во время ухода. В первом, «прощальном», письме он делает акцент на моральных и духовных причинах: «... я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают (в подлиннике описка: „делает“. – П.Б.) старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни».

Это щадящее по отношению к жене объяснение. В этом же письме он пишет: «Благодарю тебя за твою честную сорокавосемилетнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, в чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, в чем ты могла быть виновата передо мной».

Кроме того, что это письмо трогательно в личном плане, в нем еще каждое слово взвешено на случай его возможного обнародования. Неслучайно, прежде чем оставить письмо, Толстой накануне написал два его черновых варианта. Это письмо являлось как бы «охранной грамотой» для жены. Его она смело могла показывать корреспондентам (и показывала). Смысл его, грубо говоря, был такой: Толстой уходит не от жены, а от Ясной Поляны. Он не может больше жить в барских условиях, которые не совпадают с его мировоззрением.

Возможно, Толстой верил, что С.А. будет удовлетворена этим объяснением, не станет его преследовать и совершать безумных поступков. Но узнав, что она пыталась утопиться в пруду яснополянского парка, и получив ее ответное письмо со словами: «Левочка, голубчик, вернись домой, спаси меня от вторичного самоубийства», – он понял, что угрозы с ее стороны продолжаются. И тогда он решил объясниться с ней прямо и высказать то, о чем умолчал в прощальном письме.

Первый вариант второго письма, написанного в Шамордине, он не отправил. Оно было слишком резким. «Свидание наше может только, как я и писал тебе, только ухудшить наше положение: твое – как говорят все и как думаю и я, что же до меня касается, то для меня такое свидание, не говоря уж, возвращение в Ясную, прямо невозможно и равнялось бы самоубийству».

В отправленном письме более смягченный тон: «Письмо твое – я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой невыносима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя в праве сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе Бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо».

Ушел, чтобы умереть? Да, если под этим понимать страх нелепой, бессознательной смерти, согласиться с которой, в его понимании, было всё равно что пойти на самоубийство.

Толстой бежал от такой смерти. Он хотел умереть в ясном сознании. И это было для него важнее отказа от барских условий жизни и слияния с народом.

Когда Саша в Шамордине спросила его, не жалеет ли он, что так поступил с мамой, он ответил ей вопросом на вопрос: «Разве может человек жалеть, если он не мог поступить иначе?»

Более точное объяснение своего поступка он дал в разговоре с сестрой, монахиней Шамординской пустыни, который слышала ее дочь, племянница и, как ни странно, сватья Толстого Елизавета Валерьяновна Оболенская (дочь Л.Н. Маша была замужем за сыном Е.В. Оболенской Николаем Леонидовичем Оболенским). Е.В. Оболенская оставила интереснейшие воспоминания о матери, и одно из самых важных мест в них занимает встреча Л.Н. с Марией Николаевной в ее монастырской келье 29 октября 1910 года.

«Достаточно было взглянуть на него, чтобы видеть, до чего этот человек был измучен и телесно и душевно... Говоря нам о своем последнем припадке, он сказал:

– Еще один такой – и конец; смерть приятная, потому что полное бессознательное состояние. Но я хотел бы умереть в памяти.

И заплакал... Мать высказала мысль, что Софья Андреевна больна; подумав немного, он сказал:

– Да, да, разумеется, но что же мне было делать? Надо было употребить насилие, а я этого не мог, вот я и ушел; и я хочу теперь этим воспользоваться, чтобы начать новую жизнь».

К словам Толстого, переданным в воспоминаниях и дневниках других лиц, надо относиться очень осторожно и критически. И даже особенно критически, когда это близкие, заинтересованные лица. Только сопоставляя разные документы, можно найти «точку пересечения» и допустить, что здесь находится истина. Но при этом надо помнить, что этой истины не знал и сам Толстой. Вот запись в его дневнике от 29 октября, сделанная после беседы с Марией Николаевной:

«...всё думал о выходе из моего и ее (Софьи Андреевны. – П.Б.) положения и не мог придумать никакого, а ведь он, хочешь не хочешь, а будет, и не тот, который предвидишь».

Слияние с народом

С первых же дней ухода Толстого газеты стали выдвигать свои версии этого события, среди которых была и такая: Толстой ушел, чтобы слиться с народом. Одним словом это звучало так: *опрощение*.

Эта версия преобладала в советское время. Ее внушали школьникам. Толстой взбунтовался против социальных условий, в которых жил он и всё дворянское сословие. Однако, не обладая марксистским мировоззрением, поступил как анархист-народник: в буквальном смысле ушел в народ.

То, что эта версия была узаконена коммунистической идеологией, которая кланялась герою статьи В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», еще не означает, что она неверная. Во всяком случае, в ней гораздо больше правды, чем в любых романтических мифах, вроде того, что Толстой бежал навстречу смерти. Желание слиться с народом, быть неразличимым в его среде, действительно, являлось сокровенной мечтой Толстого. Как он был счастлив, когда шел во время своих прогулок на киевский тракт, проходивший рядом с Ясной Поляной, и переставал быть графом, растворялся в толпе богомольцев, принимавших его за крестьянского «дедушку». Сколько драгоценных минут и часов провел в разговорах с крестьянами Ясной, Кочетов, Пирогова, Никольского и любых мест, где ему доводилось находиться и где он первым долгом считал поговорить с местными стариками.

В XX веке в среде интеллигенции, к сожалению, стало нормой посмеиваться над «опрощением» Толстого. Набивший оскомину анекдот: «Ваше сиятельство, плуг подан к парадному! Изволите пахать?» На самом деле, участие в крестьянских работах (пахота, сенокос, уборочная), к которым он старался, и небезуспешно, приучить и своих детей (особенно отзывчивы оказались дочери), имело для Толстого глубокий смысл. Это было частью сложнейшего комплекса самовоспитания, без которого не было бы феномена позднего Толстого. В этом образе великого мудреца и гениального художника, смиренно идущего в крестьянской одежде за плугом, есть что-то необыкновенно важное для понимания сущности человеческого бытия, не менее важное, чем образ египетских пирамид или вид простого деревенского кладбища. Неслучайно этот образ не нуждается в «переводе», он понятен любой национальной культуре, ибо выражает собой не какой-то каприз русского барина, но сопричастность человека земле и буквальное воплощение библейской истины: «в поте лица добывать хлеб свой насущный».

«...писатель великой чистоты и святости – живет среди нас... – писал Александр Блок в статье „Солнце над Россией“ к восьмидесятилетию Толстого. – Часто приходит в голову: всё ничего, всё еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердыни, гранитные устои: точно на плечах своих держит и радостью своею поит и питает свою страну и свой народ... Пока Толстой жив, идет по борозде за плугом, за своей белой лошадкой, еще росисто утро, свежо, нестрашно, упыри дремлют, и слава Богу. Толстой идет – ведь это солнце идет. А если закатится солнце, умрет Толстой, уйдет последний гений, что тогда?»

Эти слова написаны за два года до ухода и смерти Толстого, но в них уже есть их предчувствие. Закат – уход – смерть – таким виделся Блоку конец жизни Толстого. Он еще не мог знать, что и уход, и смерть произойдут ночью, когда «упыри не дремлют». Но характерно, что, размышляя о смерти Толстого, Блок не мог представить его иначе как на картине Репина «Толстой за плугом».

Тем более Блок не мог знать, что Толстой изначально соберется уходить вовсе не в неизвестном направлении. В первом варианте уход имел вполне конкретный пункт назначения. Это была крестьянская изба...

С 20 по 21 октября 1910 года в Ясной Поляне гостил знакомый Л.Н., крестьянин Тульской губернии Михаил Петрович Новиков. Они познакомились в 1895 году в Москве, когда двадцатилетний Новиков служил писарем в военном штабе. Его путь от революционных увлечений к толстовским идеям был, в общем, неоригинальным для того времени. Но Толстой заметил и отметил в дневнике этот визит молодого человека, горячего, искреннего и бесшабашного. Он принес Толстому секретное дело из военного штаба о расстреле рабочих на фабрике Корзинкина в Ярославле. Толстой убедительно просил его вернуть дело на место. Тем не менее через месяц Новикова арестовали, но не за кражу секретных документов, а за то же, за что ровно полвека спустя арестуют Солженицына: слишком вольное обсуждение в частной переписке личности «первого лица» государства, которым тогда был император Николай II. Впоследствии Новиков крестьянствовал на скудном клочке земли, писал прозу и статьи и несколько раз встречался с Толстым. После революции он посылал смелые письма Сталину и Горькому о тяжелом положении крестьянства, вновь подвергался арестам и в 1937 году был расстрелян. При всей отчаянной смелости, это был удивительно здравомыслящий крестьянин, трезвый и необыкновенно трудолюбивый, один из тех, кто сумел извлечь пользу из столыпинской земельной реформы, увеличить свой надел и кормить семью своим трудом.

Именно на этого человека решил положиться Толстой.

Посетив Толстого 20 октября и поговорив с ним (в разговоре Новиков высказал сожаление, что Толстой сам не приезжает к нему в гости), крестьянин попросил разрешения ночевать, потому что опасался встретиться по пути с пьяными бродягами. Ему постелили в комнате Маковицкого. Он ложился спать, как вдруг пришел Л.Н. Сначала Новиков принял Толстого за привидение, «так легки и беззвучны были его движения». В этот визит в Ясную Поляну его вообще поразил вид Толстого: «...он был такой плохой, что я дивился в себе, как это может человек жить, мыслить и двигаться, будучи таким изможденным и высохшим?» Толстой присел на краешек кровати и начал с Новиковым разговор, который Михаил Петрович приводит в недавно переизданных воспоминаниях. Непосвященному читателю он может показаться странным, но не будем забывать, что Л.Н. старался говорить с крестьянином на его языке, как он всегда делал во время бесед с мужиками и как разговаривал даже с Горьким во время первой встречи в Хамовниках, думая, что это «настоящий человек из народа».

– Конечно, – говорил Л.Н., – если бы я еще в молодости хоть раз накричал на свою жену, затопал бы на нее ногами, она, наверное, покорила бы так же, как покоряются ваши жены, но я по своей слабости не выношу семейных скандалов, и, когда они начинались, я всегда думал, что виноват я тут один, что я не вправе заставлять страдать человека, который меня любит, и всегда уступал.

«Всякий раз он говорил мне, – вспоминал Новиков, имея в виду неоднократные посещения Ясной Поляны, – о том, как ему тяжело жить в условиях господского дома, где его считают приживальщиком, тунеядцем из-за того, что он своей работой не дает доход своему семейству».

Нужно ли говорить, что ни «тунеядцем», ни «приживальщиком» никто в семье его не считал? Это было бы смешно; не говоря о том, что хотя он и отказался от прав на свои произведения, но доверенность на издание сочинений до 1881 года («Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна Каренина» и, по сути, всё лучшее, что написал Толстой как художник) он оставил Софье Андреевне, и это приносило семье реальный доход. Но едва ли Новиков мог придумать эти слова. Скорее всего, Л.Н. подыгрывал крестьянскому сознанию, чтобы грубо и просто объяснить причину своего ухода из имения мужику, который работал, выбиваясь из сил, на бросовом клочке земли.

– Я как в аду киплю в этом доме, – жаловался он, – а мне завидуют, говорят, что я живу по-барски, а как я здесь мучаюсь, никто не видит и не понимает.

В ту ночь Толстой изложил Новикову свой замысел.

– Я не умру в этом доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. А может, я и впрямь приду умирать в вашу хату. Только я наперед знаю, вы меня станете бранить, ведь странников нигде не любят. Я это видал в ваших крестьянских семьях, а я ведь такой же стал беспомощный и бесполезный... Я вам буду только мешать и брюзжать по-стариковски.

«Мне стоило большого усилия, чтобы не расплакаться при этих словах... – вспоминал Новиков. – Мне было стыдно, что я как бы заставил его исповедоваться перед собою, и в то же время радостно, что он, как человек, забывая наши различия, не скрывал от меня своих слабостей и горестей души, за что я и всегда любил его и привязался к нему душой... Милый и дорогой дедушка, разве я мог думать в эту минуту, что ты живешь последние дни и в этом доме, и в этой жизни?..»

Если допустить, что Новиков относительно точно приводит слова Л.Н., то нельзя не заподозрить в них подспудной иронии (бедный странник, которого будут бранить крестьяне) и опять-таки невинной игры в простого «мужичка». Показательно, что когда Л.Н. передавал свой разговор с Новиковым дочери Саше, он чуть-чуть посмеивался.

«Когда я пришла к нему за письмами в залу, он, весело и немного лукаво улыбаясь, повел меня в кабинет, а оттуда в спальню.

– Идем, идем, я тебе большой секрет скажу! Большой секрет!

Я шла за ним и, глядя на него, мне делалось легче.

– Так вот что я придумал. Я немножко рассказал Новикову о нашем положении и о том, как мне тяжело здесь. Я уеду к нему. Там меня уже не найдут. А знаешь, Новиков мне рассказал, как у его брата жена была алкоголичка, так вот если она уж очень начнет безобразничать, брат походит ее по спине, она и лучше. Помогает. – И отец добродушно засмеялся... Я тоже расхохоталась и рассказала отцу, как один раз кучер Иван вез Ольгу (невестка Л.Н., первая жена сына Андрея. – *П.Б.*), а она спросила его, что делается в Ясной. Он ответил, что плохо, а потом обернулся к ней и сказал:

– А что, ваше сиятельство, извините, если я вам скажу. У нас по-деревенски, если баба задурит, муж ее вожжами! Шелковая сделается!»

Конечно, нельзя относиться к этому всерьез. Но атмосфера в яснополянском доме была такова, что такие «шутки» стали возможны.

О встрече с Новиковым Л.Н. пишет в дневнике сухо: «Приехал Михаил Новиков. Много говорил с ним. Серьезно умный мужик».

С некоторых пор Толстой боялся писать в дневнике всю правду, зная, что С.А., подобрав ключи от его стола, прочитывает его ежедневные записи. Он даже завел специальную записную книжечку, где начал «Дневник для одного себя», который прятал в голенище сапога. 24 сентября он пишет: «Потерял маленький дневник». Не потерял. Жена нашла его в сапоге и унесла к себе. По ее поздней версии, она случайно уронила на сапог постельное белье и... Но в данном случае это неважно. Важно, что атмосфера в доме Толстых была такой, что ей дивились слуги и яснополянские крестьяне, и Л.Н. в разговорах приходилось как-то выбираться из неловкого положения, в том числе с помощью таких «шуток».

Но его решение уехать к Новикову оказалось совсем не шуткой. 24 октября он посылает письмо:

«Михаил Петрович,

В связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, обращаюсь к вам еще с следующей просьбой: если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату, так что вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось

телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т. Николаева.

Буду ждать вашего ответа, дружески жму руку. *Лев Толстой*.

Имейте в виду, что всё это должно быть известно только вам одним».

Какие уж тут шутки! В этом письме впервые называется секретный шифр, который Толстой с Сашей и Чертковым будут использовать во время бегства Л.Н. из Ясной Поляны, чтобы обмануть С.А. и газетчиков. Великий Толстой, презиравший псевдонимы, не боявшийся подписывать своим именем дерзкие письма царям, Столыпину и Победоносцеву, скроется за тенью Т. Николаева.

Получив письмо, Новиков растерялся. Одно дело «по-мужицки» исповедоваться друг перед другом в уютном яснополянском доме, и совсем другое – брать на себя ответственность перед всем миром, что спрятал Толстого как беглеца.

«Я не прощаю себе той медлительности, – писал в своих воспоминаниях Новиков, – которую я допустил с ответом ему на это письмо, которого, как оказалось после, Лев Николаевич ждал двое суток и только после этого, решивши, что ехать ко мне нельзя, я не отвечаю, взял направление на юг, к жившим там знакомым, а мой ответ он получил уже больным на станции Астапово. Кто знает, может быть, от этого его жизнь протянулась бы еще несколько лет, так как двухчасовой переезд до нашей станции от Ясной Поляны не повредил бы ему, тем более что и просимая изба, теплая и чистая, стояла пустой и точно ждала к себе жильцов. Да и в моей хате была маленькая удобная комната, где он мог бы приютиться на время никем не замеченный.

Я никогда не прощу себе этой оплошности!»

Напрасно Новиков винил себя. Толстой не иглолка, и тульская деревня не стог сена. Со всемирно известной внешностью, при существовавшей тогда сети корреспондентов, государственного и частного сыска, Л.Н. был обречен на то, что его очень быстро найдут.

Любопытно другое. Сама эта изба, «теплая и чистая», появилась в воспоминаниях Новикова позднее, после смерти Толстого. В его ответном письме не только не было никакой избы, но само это письмо было, по сути, вежливой формой отказа. Поэтому если бы письмо это не опоздало, и Толстой получил его не смертельно больным в Астапове, а в Ясной Поляне, это ничего бы не изменило. Бежать Толстому было некуда, и Новиков постарался ему это объяснить.

«Дорогой Лев Николаевич, я получил ваше письмо и очень тронут вашей ко мне близостью и искренностью. Тотчас же не мог ответить, чтобы не поступить опрометчиво. Я всегда с вами был откровенен и говорил то, что было на сердце, и теперь решил сказать вам только то, что есть у меня на душе по поводу высказанной в письме просьбы, без мысли: угодить или не угодить вам. То время, когда вы должны были и для пользы дела, и в силу пробудившегося в вас сознания переменить внешние условия жизни – прошло для вас, и теперь изменять их надолго нет никакого смысла... Как бы ни желал бы видеть вас разгороженным на свободе со всеми простыми людьми, но ради сохранения вашей жизни в таком старом теле для дорогого для всех общения с вами – не могу желать этого серьезно. Желаю только, чтобы остаток вашей здешней жизни не стеснялся бы внешними условиями для общения с любящими вас, а для такого временного посещения вами ваших друзей на день, неделю, две, месяц моя хата очень неудобна. В ней есть светлая комнатка, которую все мои семейные с удовольствием уступят вам, и с любовью будут служить вам, тем более что очень маленьких детей у меня и нет, которые могли бы шуметь не вовремя. Меньшему 5 лет. Так думаю я, но если вы думаете по-другому, то пусть будет не по-моему, а по-вашему, и моя комнатка может в

таком случае быть за вами сколько угодно. А в особенности с апреля по октябрь у меня можно жить без всякого стеснения друг друга. Мы боимся не того, что вы нас стесните, а обратного... Любящий вас крестьянин Михаил Новиков».

Post scriptum шло разъяснение по поводу отдельной избы.

«В отдельной же хате считаю для вас жить невозможным по причине вашей слабости. Да совершенно отдельных хат у крестьян и не бывает. Обыкновенно есть вторые избы холодные, которые хоть и легко приспособить для жилья, сделавши в них некоторый ремонт, но они не будут отдельными, а будут через сени. Такая 6-аршинная изба есть у моего соседа, который не откажется отдать ее вам под квартиру. Или вот моя престарелая тетка будущей весной строит себе такую же 6-аршинную избу, она одинока и, как старуха умная, тоже будет рада и приютить вас, и служить вам».

Понятно, что Толстой с его крайней независимостью и в тоже время деликатностью не согласился бы на эти условия. Понимал это и Новиков... Как и то, что менять местожительство больному старику поздней осенью – это чистой воды безумие! Надо подождать до весны.

Но ждать Толстой не мог.

Письмо Новикова только 3 октября в Астапове прочел вслух приехавший туда Чертков. Л.Н. внимательно выслушал и попросил написать на конверте: «Поблагодарить. Уехал совсем в другую сторону».

«Тоска дорожная, железная...»

Из Щекина в Горбачево они ехали в купе вагона 2 класса. Позади остались усадьба и деревня Ясная Поляна, через которую два часа назад проехал удивительный кортеж. В коляске, запряженной парой, сидел старенький граф в ватнике и армяке, в двух шапках (очень зябла голова); рядом врач, невозмутимый, с неизменяющимся выражением лица Душан Петрович в коричневом потертом тулупе и желтой валяной шапочке; впереди на третьей лошади – конюх Филя с горящим факелом (по словам Саши) или фонарем (по словам Маковицкого). Деревенские жители встают рано, и в некоторых избах уже светились окна, топились печи. На верхнем конце деревни развязались поводы. Маковицкий сошел с пролетки, чтобы отыскать конец повода, и заодно посмотрел, накрыты ли у Л.Н. ноги. Толстой так торопился, что закричал на Маковицкого. На этот крик вышли мужики из ближайших домов. Немая сцена.

Когда Маковицкий в Щекине брал билеты, он сперва хотел назвать не Горбачево, а другую станцию, чтобы запутать следы. Однако понял, что лгать не только нехорошо, но и бесцельно.

В Астапове С.А. будет допрашивать Маковицкого:

- Куда же вы ехали?
- Далеко.
- Ну, куда же?
- Сначала в Ростов-на-Дону, там паспорта заграничные хотели взять.
- Ну, а дальше?
- В Одессу.
- Дальше?
- В Константинополь.
- А потом куда?
- В Болгарию.
- Есть ли у вас деньги?
- Денег достаточно.
- Ну, сколько?
- ...

Этот разговор приводит старший врач земской больницы А.П. Семеновский, которого 1 ноября телеграммой вызвали в Астапово из ближнего уездного города Данкова. Он же в своих воспоминаниях пишет об удивительном личном разговоре с Маковицким, в котором врач признался, что когда на станциях он брал билеты, то вместо денег будто бы заявлял в кассе, что берет билеты для Толстого. «Потом сочтемся». Билеты давали.

Конспиратором Толстой оказался никудышным. В Щекине, войдя первым в здание станции, он сразу спросил буфетчика: есть ли сообщение в Горбачево на Козельск? Затем то же самое уточнил у дежурного по станции. (На следующий день С.А. от кассира уже знала, куда примерно отправился муж.) Пока Маковицкий перекладывал вещи, отправляя назад ненужное, он в 400 шагах гулял с мальчиком, который ехал в школу. Подошел поезд.

– Мы с мальчиком поедem, – сказал Толстой.

В поезде Л.Н. успокоился, поспал полтора часа, потом попросил Маковицкого достать «Круг чтения» или «На каждый день», сборники мудрых мыслей, которые он составлял. Их не оказалось.

Один из самых горьких моментов в последнем путешествии Толстого заключался в том, что многолетние привычки постоянно вступали в противоречие с новыми, непривычными для старика условиями. Казалось, ему нужно было так мало, до такой степени он опростил свой яснополянский быт... Но вот поди ж ты, именно этих-то мелочей всё время и недоставало...

В этой связи совсем не смешным представляется восклицание Софьи Андреевны по поводу бегства мужа:

– Бедный Левочка! Кто ж ему маслица-то там подаст!

И совсем трогательным видится то, что, отправляясь к мужу в Астапово, С.А. не забыла взять с собой подушечку, сшитую собственной рукой, на которой Л.Н. привык спать. Эту подушечку он узнал. Но это позже.

Начиная с потери шапки в саду, мелкие, досадные неприятности то и дело терзают ясно-полянского беглеца, и всё это на первых порах ложится тяжелым грузом на Маковицкого.

Из Горбачева в Козельск Л.Н. непременно желал ехать в вагоне 3 класса, с простым народом. Сев в вагоне на деревянную скамью, он сказал:

– Как хорошо, свободно!

Но Маковицкий впервые забил тревогу. Поезд «Сухиничи – Козельск» был товарный, смешанный, с одним вагоном 3 класса, переполненным и прокуренным. Пассажиры из-за тесноты перебирались в товарные вагоны-теплушки. Не дожидаясь отхода поезда и ничего не говоря Л.Н., Маковицкий поспешил к начальнику вокзала с требованием прицепить дополнительный вагон. Тот отправил его к другому чиновнику, второй чиновник указал на дежурного. Дежурный в это время был в вагоне, глазел на Толстого, которого пассажиры уже узнали. Он бы и рад был помочь, но это оказался не тот дежурный, который отвечает за вагоны. «Тот» дежурный тоже стоял здесь и разглядывал Толстого. Маковицкий повторил свою просьбу.

«Он как-то неохотно и нерешительно (процедив сквозь зубы) сказал железнодорожному рабочему, чтобы тот передал обер-кондуктору распоряжение прицепить другой вагон третьего класса, – пишет Маковицкий. – Через шесть минут паровоз провез вагон мимо нашего поезда. Обер-кондуктор, вошедший контролировать билеты, объявил публике, что будет прицеплен другой вагон и все разместятся, а то многие стояли в вагоне и на площадках. Но раздался второй звонок и через полминуты третий, а вагона не прицепили. Я побежал к дежурному. Тот ответил, что лишнего вагона нет. Поезд тронулся. От кондуктора я узнал, что тот вагон, который было повезли для прицепки, оказался нужным для перевозки станционных школьников».

«Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне когда-либо приходилось ездить по России, – вспоминает Маковицкий. – Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить себе лицо об угол приподнятой спинки, которая как раз против середины двери; его надо было обходить. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота».

Маковицкий предложил Л.Н. подостлать под него плед. Толстой отказался. «Он в эту поездку особенно неохотно принимал услуги, которыми раньше пользовался».

Скоро он стал задыхаться от духоты и дыма, потому что половина пассажиров курили. Надев меховые пальто и шапку, глубокие зимние калоши, он вышел на заднюю площадку. Но и там стояли курильщики. Тогда он перешел на переднюю площадку, где дул встречный ветер, но зато никто не курил, а стояли только баба с ребенком и какой-то крестьянин...

Проведенные Л.Н. на площадке три четверти часа Маковицкий позже назовет «роковыми». Их было достаточно, чтобы простудиться.

Вернувшись в вагон, Толстой по своей привычке быстро сходить с людьми разговаривал с пятидесятилетним мужиком – о семье, хозяйстве, извозе, битье кирпича. Л.Н. интересовали все подробности. „Ein typischer Bauer“ («Настоящий крестьянин»), – сказал он Маковицкому по-немецки.

Мужик оказался разговорчивым. Он смело рассуждал о торговле водкой, жаловался на помещика Б., с которым община не поделила лес, за что власти провели в деревне «экзекуцию». Сидевший рядом землемер вступился за Б. и стал обвинять во всем крестьян. Мужик стоял на своем.

– Мы больше вас, мужиков, работаем, – сказал землемер.

– Это нельзя сравнить, – возразил Толстой.

Крестьянин поддакивал, землемер спорил. Его нисколько не смущало, что он спорит с самим Толстым. «Я знал вашего братца, Сергея Николаевича», – сказал землемер. По мнению Маковицкого, «он готов был спорить бесконечно, и не для того, чтобы дознаться правды в разговоре», а чтобы любой ценой доказать свою правоту. Спор перекинулся на более широкие вопросы: на систему единого налога по Генри Джорджу, на Дарвина, на науку и образование. Толстой стал возбужден, он привстал и говорил более часа. С обоих концов вагона стеснилась публика: крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты. «Два еврея», – замечает Маковицкий, испытывавший болезненную нелюбовь к евреям еще со времен австро-венгерской молодости. Одна гимназистка записывала за Л.Н., потом бросила и тоже стала с ним спорить...

– Люди уже летать умеют! – сказала она.

– Предоставьте птицам летать, – ответил Толстой, – а людям надо передвигаться по земле.

Выпускница Белевской гимназии Т. Таманская оказалась единственной свидетельницей путешествия Толстого в Козельск, которая оставила об этом письменное воспоминание, опубликованное в газете «Голос Москвы». Она пишет, что Толстой был «... в черной рубашке, доходившей почти до колен, и в высоких сапогах. На голову вместо круглой суконной шляпы надел черную шелковую ермолку».

Маковицкий, боготворивший Толстого и уже всерьез опасавшийся за его состояние, был недоволен этим запанибратским отношением к Л.Н. Когда Толстой уронил рукавицу и посветил фонариком, ища ее на полу, гимназистка не преминула заметить:

– Вот, Лев Николаевич, наука и пригодилась!

Когда Толстой, измученный спором и табачным дымом, еще раз отправился на площадку продышаться, землемер и девушка последовали за ним «с новыми возражениями». Сходя в Белеве, гимназистка попросила автограф. Он написал ей: «*Лев Толстой*».

Крестьянин услышал от Л.Н., что тот собирается в Шамординский монастырь, до него желает посетить Оптину пустынь.

– А ты, отец, в монастырь определись, – посоветовал крестьянин. – Тебе мирские дела бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся.

«Л.Н. ответил ему доброй улыбкой».

В конце вагона заиграли на гармошке и запели. Толстой с удовольствием слушал и похваливал.

Поезд ехал медленно, сто с небольшим верст за почти 6 с половиной часов. В конце концов Л.Н. «устал сидеть». «Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Л.Н.», – пишет Маковицкий.

Около 5 часов вечера они сошли в Козельске.

Впереди были Оптина Пустынь и Шамордино. В это время Толстой еще не знал, что произошло в имении после его ночного бегства. С.А. дважды покушалась на самоубийство. Первый раз ее вытащили из пруда, второй – поймали на дороге к нему. После этого она била себя в грудь тяжелым пресс-папье, молотком, кричала: «Разбейся, сердце!» Колола себя ножами, ножницами, булавками. Когда их отнимали, грозила выброситься в окно, утопиться в колодце. Одновременно с этим послала на станцию узнать: куда были взяты билеты. Узнав, что Л.Н. и Маковицкий поехали в Горбачево, велела лакею отправить туда телеграмму, но не за своей подписью: «Вернись немедленно. Саша». Лакей сообщил об этом Саше, и она отправила нейтрализующую телеграмму: «Не беспокойся, действительны только телеграммы, подписанные Александрой».

Мать пыталась перехитрить дочь, дочь – мать.

– Я его найду! – кричала С.А. – Как вы меня устережете? Выпрыгну в окно, пойду на станцию. Что вы со мной сделаете? Только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери!

Вечером 28 октября на имя Черткова была получена телеграмма: «Ночуем Оптиной. Завтра Шамордино. Адрес Подборки. Здоров. Т. Николаев».

Глава вторая

Потерянный рай

28 октября в 4:50 вечера они сошли в Козельске. Л.Н. вышел из вагона первым. Пока Маковицкий с носильщиком переносили вещи в зал ожидания, Толстой исчез, но вскоре вернулся и сказал, что уже нанял двух извозчиков до Оптиной пустыни. Взял корзинку с провизией и повел Маковицкого с носильщиком к бричкам. Извозчиком на коляске, где поехали Толстой с доктором, оказался Федор Новиков, по случайному совпадению однофамилец крестьянина, к которому Л.Н. хотел отправиться изначально. Вскоре Новиков впервые в жизни будет давать интервью газетам. Он так скажет о своем пассажире:

– Явственных знаний у меня о нем нет, но чувствую, что сердце у него не как у всех. Хочу отстегнуть фартук экипажа, а он не дает, сам, говорит, Федор, сделаю, у меня руки есть. В церковь не ходит, а по монастырям ездит.

На второй бричке ехали вещи. По дороге Новиков попросил у барина разрешения закурить. (Кстати, барином поначалу он признал Маковицкого, Толстого он принял за старого мужика.) Толстой разрешил, но поинтересовался: сколько уходит денег на табак и на водку? Получилось, что за годовую норму табака можно купить пол-лошади, за водочную – целых две. «Вот как нехорошо!» – вздохнул Толстой. «Да, нехорошо», – согласился мужик.

На пароме через Жиздру, на которой стоит Оптина, он разговорился с паромщиком-монахом и заметил Маковицкому, что паромщик этот из крестьян. У служившего в монастырской гостинице монаха Михаила, с рыжими, почти красными волосами и бородой, Л.Н. спросил: «может ли принять на постой отлученного от церкви графа Толстого?» Монах Михаил сильно изумился и отвел приезжим лучшую комнату – просторную, с двумя кроватями и широким диваном.

– Как здесь хорошо! – воскликнул Толстой.

В гостях как дома

– Я как в аду киплю в этом доме, – жаловался Толстой крестьянину Михаилу Новикову перед тем, как уйти из Ясной Поляны.

И это говорилось о доме, где он провел большую и, несомненно, лучшую часть своей жизни. Который находился в имении, где родился он сам, все его братья и сестра, большинство его детей и некоторые из внуков. Где написаны «Казачьи», «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Власть тьмы» и большинство его классических вещей, а всего более двухсот произведений. Откуда даже патриархальная Москва, не говоря о Петербурге, представлялась ему шумным и суетным адом.

Ведь уход из Ясной Поляны был, по сути, бегством из России! «Без своей Ясной Поляны, – писал Лев Толстой, – я трудно могу представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его».

Насколько же должна была измениться жизнь в Ясной Поляне или сам Толстой, чтобы пребывание в родовой усадьбе стало казаться ему «адам»?

Посетив Оптину пустынь и приехав в Шамордино, он сказал сестре, что рад бы поселиться в Оптиной и нести самое тяжелое послушание при одном условии: не ходить в храм.

Монастырская жизнь казалась ему более привлекательной, чем домашний быт. Жизнь в крестьянской избе, или монастыре, или скромной гостинице восьмидесятидвухлетний старец находил душевно комфортнее, чем уют родных стен.

По крайней мере, с лета 1909 года он лучше чувствовал себя в гостях, чем дома. Уезжая в Кочеты к старшей дочери Татьяне и зятю М.С. Сухотину, он отдыхал душой и не только не торопился обратно в Ясную, но и по возможности оттягивал это возвращение. Приехав в гости к В.Г. Черткову в подмосковное село Мещерское летом 1910 года, Толстой с неохотой покидал его и вернулся только после второй тревожной телеграммы о ненормальном состоянии С.А.

«Лев Николаевич, по-видимому, чувствует себя очень хорошо, – пишет в дневнике 16 июня 1910 года в Мещерском секретарь Валентин Булгаков. – Всегда такой оживленный, разговорчивый. Думаю, что он отдыхает здесь после всегдашней суеты у себя дома. Да и самая сравнительная простота чертковского обихода, как мне кажется, гораздо больше гармонирует со всем душевным строем Льва Николаевича, чем опостылевшая ему „роскошь“, а главное, хоть и не полная, но несомненная аристократическая замкнутость яснополянского дома».

Валентин Булгаков в то время был слишком молод и слишком «толстовец», чтобы объективно оценивать ситуацию. Однако неслучайно он берет слово «роскошь» в кавычки, намекая, что «роскошь» эта была, скорее, в голове Толстого, а не в реальности. Никакой «роскоши» в Ясной Поляне не было и в помине. Но миф о якобы «роскошных» условиях, в которых жил до ухода Толстой, до сих пор прочно бытует в российском сознании. Между тем посещавший Ясную Поляну в 1899 и 1910 гг. канадский политэконом Джеймс Мейвор, родившийся и учившийся в Великобритании, писал: «Уровень жизни в Ясной Поляне, помимо характерной для России краткости промежутков между приемами пищи, был скорее ниже, нежели выше уровня семьи среднего достатка в Англии».

Не было речи и об «аристократической замкнутости» усадьбы, представлявшей собой, скорее, проходной двор. Любой нищий, пьяный и сумасшедший мог заявиться к Толстому со своими проблемами. Удивительно, что за всё время столпотворения в Ясной никто из этих людей не догадался совершить на Л.Н. покушения или как-то оскорбить его физическим действием. И это при том, что Толстой получал немало писем и телеграмм с угрозами, посылки с веревками (намек на то, чтобы повеситься) и т. п. Но открытость и обаяние личности Л.Н. обезоруживали потенциальных хулиганов и террористов гораздо надежнее полиции.

Только во время крестьянских грабежей и поджогов 1905–1908 годов С.А. обратилась к тульскому губернатору с просьбой выделить для Ясной Поляны полицию для охраны. Но даже этот ее поступок вызвал сильное сопротивление мужа и младшей дочери.

В Кочетах и Мещерском Л.Н. отдыхал не от «аристократизма», а, напротив, от чрезмерного демократизма позднего яснополянского быта, виновником которого был сам Толстой с его учением, перевернувшим сознание тысяч людей, многие из которых мечтали непосредственно поговорить с самим учителем. Но еще больше людей, не прочитавших ни одной книги Толстого, стремились к нему просто из любопытства, чтобы поглазеть на знаменитого и доступного человека. Другие хотели похвастаться перед ним собственным умом. Кто-то приходил пожаловаться на жизнь. Кто-то – поклянчить денег.

При личной встрече с Александром III тетушка Толстого Александра Андреевна Толстая сказала государю: «У нас в России только два человека истинно популярны: граф Лев Толстой и отец Иоанн Кронштадтский». Император, посмеявшись над этим сравнением, согласился с ней. Но знаменитый проповедник Иоанн Кронштадтский, ныне причисленный к лику святых, проповедовал в огромном Андреевском соборе, а для личных встреч имел странноприимный дом в Кронштадте. Ничего этого Толстой не имел и не мог иметь по своим убеждениям. Не мог он и закрыться в келье, подобно старцам Оптиной пустыни, предоставив келейнику заниматься очередью среди посетителей. «Уезжает сегодня мой милый тесть, – отмечает 3 июля 1909 года в имении Кочеты зять Толстого М.С. Сухотин. – Я подчеркнуто говорю „милый“, так как действительно его пребывание здесь оставило впечатление мягкости, деликатности и большой легкости совместной с ним жизни. Если бы не ревнивая при всяком удобном и неудобном случае моя теща, постоянно подпускавшая в письмах к своему мужу шпильки за то, что он нашел в Кочетах место, где ему живется лучше, чем в Ясной Поляне, то, конечно, Л.Н. отсюда еще долго бы не уехал».

«Уехал папá из Кочетов 3-го июля, – записывает в дневнике дочь Толстого Татьяна Сухотина. – Мне кажется, ему было хорошо у нас: было мало посетителей, никто не вмешивался в его умственную работу, не понукал его и не распоряжался им. Он был совершенно свободен, а кругом себя чувствовал любовь и ласку и желание каждого ему угодить».

Но вот запись Маковицкого о нахождении Толстого уже в Ясной Поляне 26 июля 1909 года: «Посетители. Молодой босяк рассказал Л.Н., как пустил красного петуха попу, еще ударил кинжалом кого-то. Грозит каторга. Скрывается, скитается. Сегодня много любопытных гуляющих...»

«Считать одну свою жизнь жизнью – безумие, сумасшествие», – пишет Толстой в дневнике примерно в это же время. А в Астапове произносит фразу, которая стала своего рода предсмертным духовным посланием Толстого: «Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, а вы смотрите на одного Льва».

Тем не менее необходимо признать, что именно «пропасть людей», приезжавших и приходивших в Ясную в 1900-х годах, весьма серьезно осложняла жизнь его и близких.

Конечно, среди «пропасти людей» встречались и духовно близкие лица, и просто люди неслучайные, вроде молодого Алексея Пешкова, в будущем Максима Горького, пришедшего в 1889 году пешком со станции Крутая Грязе-Царицынской железной дороги, чтобы от лица единомышленников просить у Толстого земли и денег для земледельческой коммуны. Среди паломников Ясной Поляны были и одинокие духовные искатели; и серьезные религиозные сектанты, преследовавшиеся властями; и отчаявшиеся в поисках смысла жизни гимназисты, студенты, рабочие, служащие; и непьющие, основательные мужики, уважавшие Толстого за его любовь к крестьянам.

Но были и другие визиты.

7 апреля 1910 года. Девушка-учительница, не закончившая курсы, но желающая открыть «свою» школу. Дело за малым: надо закончить образование. И еще нужны деньги, чтобы «быть

полезной народу». Л.Н. говорит с ней о чем-то, «но ей ничего этого не нужно». Просит денег хотя бы на дорогу. Отказал.

18 апреля. Старичок-полковник, весь в орденах, православный, монархист. Ездит по частям войск, обучает солдат грамоте. Л.Н. долго с ним беседует. Вышедши от Л.Н., полковник говорит Татьяне Львовне, что у него есть секрет, и долго мнетя. Наконец, рассказывает, что написал стихи против Толстого за его отступничество от православной веры и русской государственности. «Что мне теперь с ними делать? Придется их сжечь, а я только что напечатал две тысячи...»

19 апреля. Приезжали два японца.

30 апреля. Явился Иванов, отставной артиллерийский поручик, ставший бродягой и иногда помогавший переписывать сочинения Толстого, с одним пропагандистом революции, ткачом (около 55 лет), сошедшим с ума. Ткач полтора часа произносит иностранные слова, перемешанные с русским языком. Л.Н. дает ему высказаться в фонограф.

1 мая. Л.Н. рассказал о слепом мужике из Свинок, приходящем иногда просить помощи. Он пашет с мальчиком, у него шестеро детей, бедность.

22 мая. Студент Московского университета Жилинский. Идет пешком на Кавказ. Зашел за книжками. Л.Н. с ним поговорил. Вечером одобрял его: «Оригинал». И рассказал, что есть такой купец в Ельце, который на лошадях ездит в Москву, презирая железные дороги: «Я не кобель, чтобы по свистку бегать».

28 мая. После обеда пришел молодой крестьянин за 110 верст со стихами: безграмотно, без размера. Л.Н. сказал ему обыкновенное о стихах, что писать их не нужно. «Я могу и в прозе изобрести, – ответил он. – А Кольцов мог? У меня есть гений, вдохновение».

29 мая. Два осетина из деревни Христианской Владикавказского округа. Восторженные, энтузиасты... Мало читали Толстого, но доверяют ему, как богу.

12 июня. Две барышни. Одна – с просьбой найти работу, вторая привезла рукопись рассказа о калек. Сама несчастная и слабосильная, но хочет жить полезной, в христианском смысле, работой. Другая девушка – хромая, из Оренбургской губернии, с вопросами о жизни. Обе девицы сочиняют...

Вот случайная, выбранная из дневников Маковицкого хроника яснополянских встреч весны-лета 1910 года. Но при этом надо учесть, что Маковицкий не находился при Толстом неотлучно. Значительная часть времени уходила у него на лечение крестьян Ясной Поляны и окрестных деревень.

Если бы Толстой был Чеховым, вся эта бесконечно-пестрая вереница характеров была бы полезной ему как художнику. Но в конце жизни Толстой практически отказывается от художественного творчества. Он целиком сосредоточен на мыслях о Боге и смерти. Он страшно одинокий мыслитель, который прежде всего нуждается в покое, уединении. Вся эта протекающая через его душу людская река с неизбежным «мусором» уже не вращает колеса его творчества, но «мусор» остается, ложится тяжелым осадком в душе. Помочь этим людям он не может. Его выстраданная и очень личная правда невнятна им. Да они и не шли к Толстому за правдой. Они шли к Толстому. Но он не был исповедником. Он был частным человеком, со сложными домашними проблемами, обострившимся нездоровьем и ожиданием смерти.

Дневник от 9 июля 1908 года: «Бесчисленное количество народа, и всё это было бы радостно, если бы всё не отравлялось сознанием безумия, греха, гадости роскоши, прислуги и бедности и сверхсильного напряжения труда кругом. Не переставая, мучительно страдаю от этого, и один. Не могу не желать смерти...»

Эти слова написаны за полтора месяца до восьмидесятилетнего юбилея. Юбилей он встретил в кресле-каталке по причине обострившейся болезни ног, что избавило от излишнего общения с посетителями.

С некоторых пор он стал любить или, по крайней мере, ценить болезнь и, наоборот, отрицательно относиться к здоровью. И дело не только в том, что болезнь приближала к смерти, а смерть для него стала главным событием жизни. Будучи слабым, больным или даже прикованным к постели, он имел формальное право не встречаться с людьми, не отвечать на письма (их приходило тридцать – тридцать пять ежедневно), передоверяя это Саше и секретарю. Но проходила слабость, возвращалось бодрое состояние тела и души, и тогда, точно мухи на мед, слетались эти загадочные, праздношатающиеся личности, которые считали себя в праве «грузить» Толстого своими грешками, страстишками, сомненьями и разным душевным мусором, который человек оседлый, трудовой, семейный стесняется выносить «на люди».

Дневник от 19 апреля 1910 года: «Вчера посетитель: шпион, служивший в полиции и стрелявший в революционеров, пришел, ожидая моего сочувствия. И еще такой, что очевидно, желал подделаться тем, что попов бранит. Очень тяжело это, что нельзя, то есть не умею по-человечески, то есть по Божьи, любовно и разумно обойтись со всяким».

Юпитер и бык

Когда Булгаков говорит о «демократизме» дачи Черткова в Мещерском, противопоставляя его «аристократической замкнутости» яснополянского дома, он не упоминает любопытнейший факт. Толстой выехал к Черткову 12 июня 1910 года. А уже 13 июня Чертков отправил в московские газеты «Письмо в редакцию», где писал, что «Льву Николаевичу нежелательно посещение здесь посторонних лиц, не имеющих до него определенного дела» и чтобы «лица, раньше чем предпринимать поездку, списывались со мною относительно наиболее удобного для Льва Николаевича дня их посещения».

Письмо было напечатано и вызвало гнев С.А. «Прочла сегодня заявление Черткова о том, чтобы спрашивали его позволения люди, желающие тебя видеть. Зачем? Ведь ты 24-го хочешь вернуться; а это скорее вызовет посетителей», – пишет она Л.Н. из Ясной Поляны.

Это «Письмо в редакцию» «духовного душеприказчика» Толстого, как называл себя Чертков, вдвойне любопытно. Во-первых, если Чертков действительно хотел избавить Л.Н. от навязчивых посетителей на своей даче в Мещерском, нельзя было поступить хуже, чем печатать письмо. По сути, оно перенаправляло поток паломников из Поляны в Мещерское.

Во-вторых, письмо больно задевало С.А. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Быком в данном случае оказывалась жена Толстого, которая ни при каких обстоятельствах не могла бы позволить себе подобное заявление, хотя имела на него куда большее право. Ясная Поляна формально принадлежала ей. Она отвечала за порядок в усадьбе, не говоря о спокойствии своего мужа. В отличие от Черткова, она не была сторонницей учения Толстого и не любила «темных», как она называла последователей Толстого. Но она никогда не посмела бы публично заявить, чтобы посетители Ясной предварительно списывались с ней, чтобы получить билет на встречу с Толстым.

Жена Толстого должна была знать свое место. Вот ее запись в дневнике от 13 сентября 1908 года:

«Приходил ко Льву Николаевичу какой-то рыжий босой крестьянин, и долго они беседовали о религии. Привел его Чертков и всё хвалил его за то, что он имеет хорошее влияние на окружающих, хотя очень беден. Я хотела было прислушаться к разговорам, но когда я остаюсь в комнате, где Л.Н. с посетителями, он молча, вопросительно так на меня посмотрит, что я, поняв его желание, чтоб я не мешала, принуждена уйти».

Конечно, это обижало ее. Через три дня она жалуется в дневнике: «...и мудр, и счастлив Л.Н. Он всегда работал по своему выбору, а не по необходимости. Хотел – писал, хотел – пахал. Вздумал шить сапоги – упорно их шил. Задумал учить детей – учил. Надоело – бросил. Попробовала бы я так жить? Что было бы с детьми и с самим Л.Н.?»

Революция 1905–1908 годов вызвала волну не только вооруженных восстаний в обеих столицах, но и крестьянских беспорядков, которые В.Г. Короленко называл «грабижками». Эти «грабижки» происходили и в Ясной Поляне, хотя и не в таком масштабе, как в других имениях, в том числе и в Тульской губернии, где крестьяне просто жгли помещичьи дома. В этой революции пострадала семья Берсов, из которой происходила С.А.: 19 мая 1907 года эсерами-террористами был убит ее младший брат, инженер путей сообщения Вячеслав Берс. Она переживала из-за смерти брата, но еще больше ее волновала судьба своей семьи, семьи Толстых. Она была женщиной не из пугливых, сама недавно перенесла тяжелейшую операцию прямо в яснополянском доме и вела себя во время нее очень мужественно. Но она обязана была озаботиться внешней защитой Ясной Поляны, в которой проживал ее известный на всю Россию муж, вызывавший не только любовь и преклонение, но и ненависть. Так, на юбилей

Толстого в 1908 году ему приходили не одни поздравительные, но и «злые подарки, письма и телеграммы, – пишет в дневнике С.А. – Например, с письмом, в котором подпись „Мать“, прислана в ящике веревка и написано, что „нечего Толстому ждать и желать, чтоб его повесило правительство, он и сам это может исполнить над собой“. Вероятно, у этой матери погибло ее детище от революции или пропаганды, которые она приписывает Толстому».

Начались волнения и внутри Ясной Поляны, о которых пишет Маковицкий 5 сентября 1907 года: «Яснополянские крестьяне несколько дней как забастовали; пять-шесть настраивают, другие подчиняются. Ушли с работы и с тех пор не приходили; не платят аренды, пускают в сад лошадей, ночью с телегами приезжают за овощами, две ночи обстреливали (правда ли?) сторожей, полная распушенность... Софья Андреевна вызвала стражников, чтобы отнять револьверы и ружья и напугать... Л.Н. покоряется...»

Покоряется, но не скрывает своего раздражения тем, что его жена через тульского губернатора Д.Д. Кобеко организовала в Ясной Поляне полицейскую охрану в виде двух стражников, в обязанность которых, среди прочего, входило проверять паспорта у посетителей Поляны.

«Был тяжелый разговор с Соней», – пишет Толстой в дневнике 15 сентября, и этот разговор был уже не первым. Толстой был очень недоволен тем, что стражники грубо обходятся с крестьянами и посетителями Ясной. Да что там с посетителями, они и самому Толстому на его просьбу не проверять паспорта грубо ответили, что «графиня желает быть огражденной от подозрительных людей». Но полицейских тоже можно понять: ведь их вызвал не граф, а графиня.

Толстой недоволен, а его двадцатитрехлетняя дочь Саша просто-таки возмущена.

– Разве папá надо охранять стражниками? Как ему это тяжело! Если бы не папá, я бы сейчас уехала!

Можно понять и Сашу... Она молода, принципиальна и всем сердцем разделяет «непротивленческие» убеждения отца, которые он в эти же самые дни излагает в своем дневнике:

«Убийства и жесткость всё усиливаются и усиливаются. Как же быть? Как остановить? Запирают, ссылают на каторгу, казнят. Злодейства не уменьшаются, напротив. Что же делать? Одно и одно: самому каждому все силы положить на то, чтоб жить по-божьи. Они будут бить, грабить. А я, с поднятыми по их приказанию кверху руками, буду умолять их перестать жить дурно. „Они не послушают, будут делать всё то же“. Что же делать? Мне-то больше нечего делать».

Ему больше нечего было делать. Ему, с его выстраданными идеями, оставалось только, не принимая насилия, не сопротивляться ему. Кстати, толстовскую идею «непротивления» часто понимают как согласие с насилием. Это ошибка, против которой всегда протестовал Толстой. Не принимать, но и не сопротивляться. Всякое сопротивление – насилие, а насилие порождает новое насилие.

Но С.А. – не Лев Толстой. Она хозяйка имения. Может, и не самая лучшая, но она чувствует ответственность, которую переложил на ее плечи муж, и твердо знает одно: позволять крестьянам своевольничать нельзя. Сама она ничего против этого сделать не может. Нужны стражники. Жене Толстого принадлежит афоризм, в котором беспомощность слабой женщины соединена с опытом личного хозяйствования в предреволюционное лихое времечко: «Хозяйство – это борьба за существование с народом».

И еще она знает, что человек без паспорта – это либо бродяга, либо беглый преступник, от которых можно ждать всё что угодно. И случись что-нибудь с ее мужем, ей первой этого не простят. Почему она не уберегла великого Толстого? Ведь это ей была доверена его жизнь! И не только его, но и жизнь Саши, и Тани Сухотиной, приезжавшей в Ясную Поляну с дочкой Танечкой, внучкой Л.Н. и С.А., от которой старики были без ума.

Щепетильность проблемы заключалась еще и в том, что паспортов не имели и наиболее последовательные «толстовцы», потому что иметь паспорт значило признавать законы государства, построенного на насилии.

Все эти проблемы снимались сами собой, когда Л.Н. находился не дома, а в гостях. Здесь забота о его спокойствии, о том, чтобы ему не докучали назойливые посетители, была нормальным делом. Но в Ясной Поляне было не так. Ни посетителям усадьбы, ни даже крестьянам не было дела до того, что хозяйкой имения является жена Толстого, а не граф. К нему шли с жалобами обиженные стражниками беспаспортные «толстовцы», к нему обращались родные крестьян, арестованных за рубку леса и кражи на огородах. Положение это было мучительно и для него, и для С.А. Это был гордиев узел, который приходилось, волей-неволей, рубить жене Толстого. Это портило ее характер, обостряло и без того не любовные отношения с младшей дочерью, раскалывало семью на сторонников матери и сторонников отца.

«...моя мать не только не разделяла отрицательного отношения отца к собственности, но, наоборот, продолжала думать, что чем богаче она и ее дети, тем лучше. Она была не только женой, она была матерью, а матерям особенно свойственно мечтать о земных благах для своего потомства», – писал в «Очерках былого» старший из сыновей Толстого Сергей Львович.

Но было и еще одно тонкое обстоятельство, которое отравляло последние годы жизни Толстого в Поляне.

Почему бежал отец Сергей?

Повесть «Отец Сергей» – одно из самых глубоко личных произведений Толстого. Он писал «Сергия» не торопясь, с большими перерывами, на протяжении почти десять лет, как и «Хаджи-Мурата». Обе повести опубликованы после смерти писателя и уже на этом, хотя и формальном, основании могут рассматриваться как своего рода художественные «завещания» Толстого.

«Отец Сергей» – повесть об уходе. Это является ее главной темой, и тем любопытнее, что смысл ее складывался не сразу, по мере накопления некоего собственного духовного переживания, которое он не спешил изложить на бумаге, а тем более – обнародовать.

Впервые сюжет «Отца Сергия» был пересказан в письме к Черткову в феврале 1890 года – до места, где светская красавица Маковкина приезжает к отцу Сергию с намерением провести ночь в его келье, поскольку она заключила на это пари. Это – примерно одна треть содержания «Сергия».

Тем, что повесть была написана, мы во многом обязаны Черткову. Опасаясь, что сюжет останется невоплощенным, и желая втянуть Толстого в работу над ним, он переписал полученное письмо, оставляя между строками большие пространства для дальнейшей работы, и возвратил копию письма вместе с подлинником. Он не раз поступал таким образом, стимулируя Толстого для писания художественных произведений. Это опровергает распространенное мнение, будто Чертков был заинтересован исключительно в учительской стороне деятельности Толстого в ущерб его художественному гению.

Однако, как это часто бывало с Толстым, смысл повести перерос ее сюжет. Смысловой центр сместился с сюжета об искушении отца Сергия, бывшего князя Касатского, двумя женщинами, красавицей Маковкиной и купеческой дочкой Марьей, в сторону третьей героини – Пашеньки, к которой отправился Сергей после ухода из кельи. Несомненно, главным для Толстого, в конце концов, стала не остросюжетная история, а история с Пашенькой, которая занимает в повести всего несколько последних страниц.

Итак, справившись с дьяволом в лице Маковкиной ценой указательного пальца левой руки, Сергей не выдерживает, казалось, меньшего искушения: «падает», соблазненный слабой девицей с развитыми женскими формами.

Этот контраст между двумя искушениями: тонким, изощренным и грубым, наглым («Что ты? – сказал он. – Марья. Ты дьявол. – Ну, авось ничего») – составляет интригу, но не душу повести.

Душа повести, ее главный смысл не в том, почему бежал отец Сергей, а в том, почему и от кого он *ушел*.

После того, что случилось с Марьей, у Сергия не оставалось другого выхода, как бежать. Но уход он замыслил гораздо раньше, а то, что было с Марьей, стало только поводом для бегства. Можно предположить, что если бы не было Марьи, Сергию потребовался бы другой повод, чтобы уйти, оставив какое-то объяснение своего поступка. Чтобы его уход воспринимался не как новая ступень его святости, а как свидетельство того, что он обыкновенный грешный человек.

«Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже всё обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он спрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел

сделать отец Сергей. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства».

Этот дьявол возникает раньше Марьи, и его бегство из кельи было бегством от него. Бежать от него без помощи Марьи он бы не смог. Этот дьявол – людская слава. Просто уйти означало бы усилить свою славу, подыграть дьяволу и окончательно покориться ему. Вот почему отец Сергей медлил с уходом и словно ждал появления этой дурочки, соблазнившей его легко, потому что он давно был готов к этому.

«С каждым днем всё больше и больше приходило к нему людей и всё меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что стал подобен месту, где прежде был ключ. „Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня... Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли всё, осталась одна грязь...“»

Мучение отца Сергия в том, что «он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. „Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?“ – вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его».

Этого дьявола невозможно воплотить в кинематографе. Он не имеет конкретного лица, у него множество лиц. В конце концов, это толпа, «чернь». То, что этот дьявол будет истязать Толстого в конце жизни, он предсказал в «Отце Сергии», как и то, что единственным спасением от этого дьявола является бегство в никуда, в неизвестность. Убежать от толпы можно только растворившись в толпе. Иначе она рано или поздно тебя настигнет и потребует ответов на свои вопросы. И никакое «Подите прочь!» тут не спасет. В случае же Толстого ситуация была вдвойне безвыходной, ибо ясного пушкинского понятия о «черни» в его мировоззрении не существовало.

«Суди о других, как о себе же, – пишет Толстой в дневнике 13 февраля 1907 года. – Ведь это – ты же. И потому будь в их дурных делах так же снисходителен, как ты бывал и бываешь к себе. И так же, как в своих грехах, надейся на их раскаяние и исправление».

Это глубоко христианская мысль, но в реальной ясногорской жизни было невозможно ежедневно отождествлять себя с множеством людей, которые писали и шли к Л.Н. в полной уверенности, что они единственные, для кого он существует на этой земле. Подавляющее большинство писем и словесных просьб были просьбами о деньгах. Напрасно он несколько раз напечатал в газетах письма с напоминанием, что отказался от собственности и прав на сочинения. Это только раздражало просителей, заставляло их думать, что граф лукавит.

Вторая по величине категория писем и обращений была «обратительная»: эти люди пытались либо вернуть Толстого в лоно православия и государственности, либо, указав на его ошибки и противоречия, наставить на истинно «толстовский» путь, как они его понимали.

И только третья, самая маленькая категория людей писали и шли к Толстому с серьезными, искренними вопросами о жизни и Боге. Эти письма и обращения он называл просто «хорошими». Он относил к ним даже такие, где не было серьезных мыслей, а было только искреннее желание поговорить, высказать душу или хотя бы без всякой задней мысли напом-

нить о себе, как Бобчинский и Добчинский в гоголевском «Ревизоре» просили Хлестакова напомнить о себе Государю. К «хорошим» письмам он относил, например, такие:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь. Осмелюсь прибегнуть к милосердию Господню, чтобы Господь послал мне грешному разумение написать сию письмо к многим уважаемым народами русской земли, даже слышно и заграницами, Ваше громкое имя, – то и я, грешный человек и самый маленький, как букашка, хочу доползти хоть письмом до вашего имени, Лев Николаевич г-н Толстов».

На такие бесхитростные письма Толстой обязательно отвечал. Мучили его другие люди. Они писали и шли к Толстому с раз и навсегда принятыми убеждениями, неважно, толстовскими или антитолстовскими. Это были духовные насильники, и вот здесь Толстому с его «непротивлением» приходилось туго.

Валентин Булгаков рассказывает об одном сне Толстого в феврале 1910 года. «Ему снилось, что он взял где-то железный кол и куда-то с ним отправился. И вот, видит, за ним крадется человек и наговаривает окружающим: „Смотрите, Толстой идет! Сколько он вреда всем принес, еретик!“ Тогда Лев Николаевич обернулся и железным колом убил этого человека. Но он через минуту же, по-видимому, воскрес, потому что шевелил губами и говорил что-то».

Нет, не из-за одних семейных противоречий и стремления к опрощению ушел Толстой из Ясной. Одним из мотивов ухода или бегства был дьявол земной славы, слишком обостренной любви-ненависти к нему людей, от чего он страдал, мечтал избавиться, превратившись в обыкновенного старика. В «Отце Сергии», законченном в 1898 году, более чем за десять лет до исчезновения из Ясной Поляны, он продумал, на первый взгляд, крайне оригинальный, на самом же деле проверенный веками юродства вариант этого исчезновения. Чтобы исчезнуть не умножая земную славу, нужно совершить какой-то донельзя неприличный поступок, который перечеркнул бы твое бывшее величие, твою ложную святость.

Увы или к счастью, эта модель была так же невозможна для Толстого, как имитация самоубийства («Живой труп») и подмена своего тела в гробу («Посмертные записки старца Федора Кузмича»). Для ухода Толстого не было готовых моделей.

А как было бы хорошо! «Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными».

Грешник поневоле

А ведь было время, когда Толстой не только не думал об уходе из Ясной Поляны, но любой отъезд из нее воспринимал как неприятную обязанность, как досадный перерыв в естественном течении своей жизни. Было время, когда он, напротив, пешком уходил из Москвы в Ясную, совершая как бы паломничество в свое имение, как совершал паломничество в Троице-Сергиев монастырь, Оптину пустынь и Киевско-Печерскую лавру.

Когда в 1847 году рано осиротевшие братья Толстые произвели раздел родительского наследства, Льву, как младшему брату, досталась Ясная Поляна. Он был несказанно счастлив... Невозможно представить, что происходило в душе восемнадцатилетнего юноши, когда он стал хозяином родового поместья, с которым были связаны самые чистые, священные воспоминания.

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений...

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие – но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любви и надежд на чистое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи – единственном человеке, которого я знал несчастным, и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастья; дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать. Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь в угол пуховой подушки и любишь, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастья всем, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями к жизни?

Где те горячие молитвы? Где лучший дар – те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?»

Поразительные строки из первого законченного произведения Толстого – повести «Детство»! Они дают представление не только о том, с чего он начинал жизненный путь, но и как мечтал его завершить. Здесь, по сути, отражен весь духовный вектор жизни Толстого.

Жизнь есть счастье. Наивысшее счастье достигается через веру в Бога и любовь ко всем людям. Вера и любовь – это даже не добродетели. Это самая насущная и, если угодно, эгоистическая потребность души. В детстве, если оно прекрасно, эта потребность утоляется сама собой. По мере взросления эгоистические потребности тела заглушают и подменяют главные потребности души – жажду веры и любви. Но чем больше человек удовлетворяет потребности тела, тем он более несчастен. И чем дальше он заходит в удовлетворении эгоистических потребностей тела, тем дальше от источников счастья.

Возвращение к источникам требует уже колоссального духовного напряжения, трудной, педантичной работы над собой, и всё ради того, чтобы обрести то, что в детстве дается даром.

Вот в сжатом виде вся духовная философия Толстого, которая определяла его духовную практику. Парадокс состоял в том, что насколько прост был желаемый духовный результат, настолько невероятно сложной была духовная практика. «Дело жизни, назначение ее – радость, – писал Толстой. – Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь, ищи эту ошибку и исправляй». «Всё в тебе и всё сейчас», – любил повторять Л.Н. стихийного крестьянского философа Василия Кирилловича Сютяева. Но какой же громадной работы над собой требовало достижение этого состояния! Весь дневник Толстого, начиная с 1847 года до самой смерти, посвящен, по сути, непрерывной хронике этой тяжелой работы.

Это похоже на попытку возвращения в рай. Вернее, в то райское состояние души, которое описано в «Детстве». Первое упоминание о работе над «Детством» – январь 1851 года; закончена повесть летом 1852-го. Дневник Толстой начинает вести в марте 1847 года в казанской университетской клинике, где лечится от *гаонареи* (гонореи), которую получил «от того, от чего она обыкновенно получается». Таким образом, первая запись в дневнике свидетельствует о том, насколько далек он от детского, «райского» состояния души. Постыдная физическая нечистота – всего лишь внешнее проявление ужасного омертвления души, но и сигнал к тому, что нужно, пока не поздно, начинать работу над собой. И этой-то главной работе он и посвятит всю жизнь, цель и назначение которой укажет в «Детстве».

Потребность любви жила в Толстом всегда. Но сила веры и невинность были утрачены очень скоро после того, как он покинул детский рай, свою Ясную Поляну. «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере, – пишет он в „Исповеди“ в конце 70-х годов. – Меня учили ей и с детства, и во всё время моего отрочества и юности. Но когда я 18-лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили...

Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».

Эти строки писались Толстым в то время, когда его сознание меняло полюса: всё, что он ранее считал белым, становилось черным и наоборот. На самом деле, не так уж он был одинок в своей молодости. Три прекрасных старших брата, Николай, Сергей и Дмитрий Толстые, закончили тот же Казанский университет, в котором учился он. Нежно любимая младшая сестра Мария. Две тетушки: Пелагея Ильинична Юшкова и Татьяна Александровна Ергольская. Последняя заменила младшим детям, Дмитрию, Маше и Льву, их мать в Ясной Поляне. Пелагея Ильинична приняла братьев Толстых в Казани.

Одиночество молодого Л.Н. заключалось, скорее, в том, что, в полной мере «отдаваясь страстям», он, тем не менее, отчаянно не желал становиться «похож на большого». Принимая внешние правила игры взрослых, оставался «внутренним ребенком». И конечно, неслучайно первое, прославившее его, произведение называлось «Детство».

Дневник Толстого периода начала работы над «Детством» рисует поистине удручающее состояние души. Это полный контраст с тем детским, «райским» настроением, которое показано в «Детстве». У непосвященного читателя может создаться впечатление, что это писал не здоровый цветущий молодой человек, который скоро отправится добровольцем на Кавказ и будет участвовать в боевых операциях против чеченцев, но изнеженный хлюпик, «декадент».

7 марта 1851 года: «...недостаток Энергии».

9 марта: «...недостаток Энергии».

13–14 марта: «Мало гордости... обжорство... лень... обман себя... ложь...»

16 марта: «Лень... трусость... рассеянность... мало твердости...»

3 апреля: «Тщеславие... обман себя... слаб... вял... неопрятен...»

Но это обманчивое впечатление. Беспощадная пристальность, пунктуальность, с которыми Толстой заносил в дневник малейшие проявления слабоволия, слабодушия, говорят об обратном. С самого начала ведения дневника он начинает ту самую последовательную работу над собой, результатом которой стал феномен позднего Толстого. Феномен, о котором профессор В.Ф. Снегирев, напомним, писал: «Тот, кто вглядывался в его движения, посадку, поворот головы, походку, тот ясно видел *всегда* сознательность движений, т. е. каждое движение было выработано, разработано, осмыслено и выражало идею...»

Толстой сравнивал эту работу над собой с занятиями физкультурника: «Да, как атлет радуется каждый день, поднимая большую и большую тяжесть и оглядывая свои всё разрастающиеся и крепнущие белые (бисепсы) мускулы, так точно можно, если только положишь в этом жизнь и начнешь работу над своей душой, радоваться на то, что каждый день, нынче, поднял большую, чем вчера, тяжесть, лучше перенес соблазн» (Дневник. 9 ноября 1906 года).

Душевных и физических сил Л.Н. было не занимать. Но настоящей веры, любви, невинного чувства непрерывного счастья в общении с Богом, миром и людьми уже не было. Остались лишь воспоминания, которые он так поэтически воспроизвел в «Детстве». На деле же было совсем другое.

«Я, когда просыпаюсь, испытываю то, что трусливая собака перед хозяином, когда виновата...» – пишет в дневнике на Кавказе.

В промежутке между вступлением в права хозяина Ясной и бегством (да, да, бегством!) на Кавказ Толстой ведет обычный для молодого, небедного и неженатого дворянина того времени образ жизни. Это вино, карты, цыгане и проститутки (будем называть вещи своими именами).

«Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, которое в отдалении казалось мне очень хорошим, и отворил сзади дверь. – Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу, что от нее изменяю правилам», – пишет в дневнике 18 апреля 1851 года.

Что за правила такие? А вот: «Сообразно закону религии, женщин не иметь» (запись 24 декабря 1850 года).

Те, кто с чрезмерным любопытством выискивает в дневниках Толстого свидетельства о его якобы ужасно порочном образе жизни, не вполне представляет себе образ жизни дворянства того времени. Во многом это происходит благодаря Толстому с его «Войной и миром» и «Анной Карениной», да еще и в отфильтрованном кинематографическом исполнении. Поместный дворянин представляется нам в образе Константина Левина, а городской развратник – в образе милейшего Стивы Облонского. Но Толстой знал и другие образы, описать которые просто не поднималась его рука. Например, он хорошо знал о жизни своего троюродного брата и мужа родной сестры Валериана Петровича Толстого. Свояченица Л.Н. Татьяна Кузминская в 1924 году писала литературоведу М.А. Цявловскому о Валериане Толстом: «Ее (Марии Николаевны. – П.Б.) муж был невозможен. Он изменял ей даже с домашними кормилицами, горничными и пр. На чердаке в Покровском найдены были скелетца, один-два новорожденных».

Ранние дневники Толстого действительно оставляют впечатление какой-то неприятной душевной и даже физической нечистоты. Но это происходит от того, что человек, писавший этот дневник, имел как раз очень ясное представление о чистоте, которое он отразил в повести «Детство». Молодой Толстой, каким он предстает со страниц своего дневника, являл крайне невыгодный с эстетической точки зрения тип непрерывно кающегося грешника. Отсюда этот

образ собаки, виноватой перед хозяином, причем под хозяином нужно понимать, конечно же, Бога.

7 марта 1851 года: «Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело; говорил себе: надо же выпить кофею, как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофею».

3 июля 1851 года: «...завлекся и проиграл своих 200, николинькиных 150 и в долг 500, итого 850. Теперь удерживаюсь и живу сознательно. Ездил в Червлennую, напился, спал с женщиной; всё это очень дурно и сильно меня мучает... Вчера тоже хотел. Хорошо, что она не дала. Мерзость».

26 августа 1851 года: «С утра писать роман, джигитовать, по Татарски учиться и девки».

Лишь временами «райское» чувство возвращается к нему, как это происходит на Кавказе, в селении Старый Юрт:

«Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к ангелу-хранителю, – и потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял всё: и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера – это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую всё дурное...»

«Утро я провел довольно хорошо, – вяло отмечает дальше Толстой, – немного ленился, солгал, но безгрешно». Но уже через несколько дней он признается: «Ездил в Червлennую, напился, спал с женщиной... Мерзость...» «Вечное блаженство *здесь* невозможно, – делает он неутешительный для себя вывод. – Страдания необходимы. Зачем? Не знаю».

Граф уходящий

Раздел наследства между братьями состоялся 11 апреля 1847 года, а уже на следующий день Толстой подает прошение об отчислении из Казанского университета и 1 мая приезжает в принадлежавшую ему теперь Ясную Поляну. Отныне она становится для него не просто родовой усадьбой, где он родился и провел детство, не просто собственностью, но землей обетованной, куда он будет возвращаться всякий раз, пройдя очередной этап сомнений и искушений. И всякий раз он будет бежать в Ясную, нетерпеливо, по-детски бросая всё на свете: университет, армию, светскую жизнь, литературные круги и даже многодетную семью, когда она поселится в Москве.

Его Превосходительству
г. ректору Императорского Казанского университета
действительному статскому советнику и кавалеру
Ивану Михайловичу Симонову
своекоштного студента 2-го курса
юридического факультета,
от графа Льва Николаевича Толстого
ПРОШЕНИЕ

По расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам, не желая более продолжать курса наук в университете, покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать зависящее от вас распоряжение об исключении меня из числа студентов и о выдаче мне всех моих документов.

К сему прошению руку приложил
студент граф Лев Толстой.
Апреля 12-го дня 1847 года.

Перед тем как Толстой уволился из университета, его постигло административное наказание – карцер за прогулы лекций по истории. С этого момента Толстой начинает третировать историю как науку, считая ее собранием нелепых анекдотов о безнравственных людях, которых зачем-то признают великими деятелями и даже святыми. Сидя в карцере со студентом Назарьевым, он вслух издевается над исторической наукой:

– История – это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, – что это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1563 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, – в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил всё это, а не знаю, так ставят единицу.

Показательно, что эта обличительная речь, приведенная в воспоминаниях Назарьева и подтвержденная Толстым биографу Бирюкову, произносилась именно в карцере. Начиная с этого эпизода, Толстой будет всякий раз выходить из себя, буквально впадать в бешенство, когда его коснется малейший призрак административного наказания, стеснения личной воли.

Здесь же, в карцере, он ругает и всю университетскую науку:

– Что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны?

Весна 1847 года – поворотный этап в жизни Толстого. Он начинает дневник, он становится хозяином Ясной и бросает университет. Но главное – это первый опыт его бегства. С бегства он начинает свой сознательный путь в жизнь, бегством его и завершит.

«Лев Николаевич спешил с выездом из Казани, – пишет в воспоминаниях историк русского права Н.П. Загоскин, – и не стал даже дожидаться окончания его братьями Сергеем и

Дмитрием выпускных университетских экзаменов. Наступил день отъезда Льва Николаевича в Москву, через которую он должен был ехать в свою Ясную Поляну. В квартиру графов Толстых, во флигеле дома Петонди, собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далекий и трудный, по условиям сообщения того времени, путь... Как водится, за отъезжающего выпили, насаказав ему всякого рода пожеланий. Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в последний раз отдали ему прощальное целование».

Что-то это всё ужасно напоминает...

Да это же начало повести «Казачья»!

«В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съездившись, точно прячется за угол дома...

– Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет, – сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. – С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, – жизни трудов, лишений, деятельности.

– И в самом деле, прощай! – сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал...

Дмитрий Оленин бежит на Кавказ, запутавшись в долгах и связях с женщинами. Толстой бежал на Кавказ по тем же причинам. Но в идеальной основе лежала, конечно, жажда «жизни трудов, лишений, деятельности», которая гнала Л.Н. сначала из Казани в Ясную. И совсем в сокровенной основе был поиск земли обетованной, «рая», которым представлялись ему Ясная Поляна и неиспорченный цивилизацией Кавказ. До того как бежать на Кавказ, он чуть не бежал в Сибирь, куда затем последовательно отправлял своих героев: отца Сергея, старца Федора Кузмича, Степана Пелагеюшкина из «Фальшивого купона».

Обозначим пунктиром начало молодости Толстого. Клиника, где он находится с постыдной болезнью и... начинает вести дневник, который станет мировым образцом неустанной работы по нравственному самоусовершенствованию... Карцер, где он сидит за банальные прогулы лекций и... ведет смелые речи об истории человечества... Отказ от учебы в университете и... счастливое принятие на себя ярма помещичьего хозяйства...

Наконец, бегство как путь решения всех проблем.

Совершенно очевидно, что Толстой принадлежал к породе людей, для которых важна не столько свобода, сколько личная *воля*.

Эти люди готовы брать на себя любые, самые тяжелые обязательства, но только не под давлением извне. Как только давление извне превышает силы и возможности их личной воли, они обращаются в бегство.

Среди самых первых дневниковых записей Толстого 1847 года есть одна очень важная: «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство; ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения».

Когда первый биограф Толстого П.И. Бирюков спросил о самых ранних впечатлениях его жизни, он вспомнил вот что:

«Вот первые мои воспоминания... Вот они: я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись,

кто-то, я не вспомню кто. И всё это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. – Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой».

А вот второе впечатление раннего детства: «посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».

И еще одно воспоминание: гувернер-француз St.-Thomas запирает маленького Льва в комнате, а потом угрожает розгами. «И я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной. Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь».

В отсутствие родителей (мать скончалась, когда Льву не исполнилось и двух лет, а отец внезапно умер, когда ему не было девяти) тетушки играли в его жизни огромную роль. После смерти отца опекуной над детьми стала его сестра Александра Ильинична.

Вспоминая об этой тетушке, Л.Н. рассказал о ее муже, остзейском графе Остен-Сакен, страдавшем беспричинной ревностью. Дойдя до полного сумасшествия, граф однажды решил, что «враги его, желающие отнять у него жену (она была к тому же беременной. – П.В.), окружили его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась. Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибнут, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга... На беду, по проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж; он вскрикнул, что всё погибло, и велел ей стрелять в себя, а сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетушки, скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором».

В этой почти невероятной истории привлекает внимание даже не сам сюжет, но то, с какой пристрастной подробностью передает его в своих воспоминаниях Л.Н. Точно он сам в качестве третьего лица сидел в этой коляске рядом с безумным графом и его несчастной беременной женой.

Любопытно, что сестра Л.Н. Мария Николаевна, тоже слышавшая эту историю от тетушки, передавала ее совсем иначе. Никакого бегства «от врагов» не было и в помине. Ревнивый граф просто заманил свою жену ночью в парк и выстрелил в нее в упор. Испугавшись собственного поступка, граф отнюдь не бежал, а сам отвез раненую к пастору.

Если предположить, что невероятный сюжет с бегством был фантазией маленького Льва, которая дополнила рассказ тетушки, несложно понять, в каком направлении работало его воображение.

Фантазии Левочки были самыми неожиданными. Например, он входил в залу и кланялся задом, откидывая голову назад и шаркая. Однажды остриг себе брови, чем сильно обезобразил свое лицо.

«Другой раз, – рассказывала П.И. Бирюкову Мария Николаевна, – ехали мы на тройке из Пирогова в Ясную. Во время одной из остановок экипажа Левочка слез и пошел пешком. Когда экипаж тронулся, его хватились, но его нигде не было. Кучер с козел увидал впереди на дороге его удаляющуюся фигуру; поехали, полагая, что он пошел вперед, чтобы сесть, когда тройка его догонит, но не тут-то было. С приближением тройки он ускорил шаг, и когда тройка пошла рысью, он пустился бегом, видимо, не желая садиться. Тройка поехала очень быстро, и он побежал во всю мочь, пробежав так около трех верст, пока, наконец, не обессилел и не сдался. Его посадили в карету; он задыхался, был весь в поту и изнемогал от усталости».

Если бы этот эпизод из детства Толстого не был рассказан Марией Николаевной за несколько лет до бегства Л.Н. из Ясной Поляны и даже опубликован в первом томе бирюковской биографии, вышедшей в 1906 году, можно было бы заподозрить ее в том, что она вспомнила о нем под впечатлением этого бегства. Как и о другом эпизоде, тоже рассказанном Бирюкову:

«Мы собрались раз к обеду, это было в Москве, еще при жизни бабушки, когда соблюдался этикет, и все должны были являться вовремя, еще до прихода бабушки, и дожидаться ее. И потому все были удивлены, что Левочки не было. Когда сели за стол, бабушка, заметившая отсутствие его, спросила гувернера St.-Thomas, что это значит, не наказан ли Леон; но тот смущенно заявил, что он не знает, но что уверен, что Леон сию минуту явится, что он, вероятно, задержался в своей комнате, приготавливаясь к обеду. Бабушка успокоилась, но во время обеда подошел наш дядька, шепнул что-то St.-Thomas, и тот сейчас же вскочил и выбежал из-за стола...»

Вскоре дело разъяснилось, и мы узнали следующее: Левочка, неизвестно по какой причине (как он сам теперь говорит, только для того, чтоб сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других), задумал выпрыгнуть в окошко из второго этажа, с высоты нескольких сажен... В нижнем подвальном этаже была кухня, и кухарка как раз стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не поняв сразу, в чем дело, она сообщила дворецкому, и когда вышли на двор, то нашли Левочку лежащим на дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и всё ограничилось только легким сотрясением мозга; бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровым...»

Слушая рассказ сестры, Л.Н. добавил от себя, что, прыгая из окна, он прыгал не вниз, а вверх. Еще он рассказал, что в семь – восемь лет «имел страшное желание полетать в воздухе. Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять колени, причем чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь».

Можно привести немало примеров странностей Толстого, связанных с его стремлением к личной свободе и независимости, с болезненным переживанием всякого внешнего насилия. Но посмотрим лучше, какие из этих странностей он сохранил до конца своих дней? Во-первых, привычку, не дожидаясь экипажа, уходить вперед. Этой привычке он не изменил и после бегства из Ясной. Когда они с Маковицким отъезжали из Оптиной пустыни, Толстой тоже ушел вперед.

Во-вторых, можно предположить, что ежедневные прогулки Л.Н., пешком и на лошади, запутанными лесными тропами, с блужданиями, были своего рода репетициями или, если угодно, симуляциями ухода. Непредсказуемость маршрутов Толстого удивляла всех, кто

сопровождал его в последний год жизни, когда оставлять старика одного стало просто небезопасно. Об этом пишут и секретарь Булгаков, и музыкант Гольденвейзер, и врач Маковицкий. Можно даже предположить, что *уход и блуждания* были страстью Толстого, могучей и неодолимой, какими для других людей являются женщины, алкоголь или карточная игра.

Что означала эта страсть? Да, мы знаем, что это время он проводил в одинокой молитве, обращаясь к Богу какими-то одному ему известными словами. Да, в последние годы жизни это время, проведенное вне домашних стен, было для него еще и отдыхом от посетителей и от семейных сцен. Но и когда его уже не оставляли одного, когда в прогулках его сопровождали Булгаков, Маковицкий, Гольденвейзер или кто-то из приятных ему гостей, он всё равно выбирал неизведанные тропы, крутые овраги, словно нарочно вынуждая себя и своего спутника заблудиться и искать выхода из трудного положения.

– А я нынче так хорошо с милым Булгаковым ездил по дорожкам в лесу; мы с ним плутили, – радостно говорил он за обедом.

Вот и в последний перед уходом день, 27 октября, он отправился на конную прогулку и загнал себя и Маковицкого в глухой овраг.

Доктор испугался, что он попытается форсировать овраг на лошади, как делал обыкновенно, и попросил его слезть.

«...он послушался, что так редко бывало. Овраг был очень крутой, и я хотел провести каждую лошадь отдельно, но боясь, что пока я буду проводить первую, Л.Н. возьмется за другую (Л.Н. не любил, когда ему служили), я взял поводья обеих лошадей сразу... Так спустился и так перепрыгнул ручей. Тут Л.Н. тревожно вскрикнул, боясь, что какая-нибудь лошадь наскочит мне на ноги. Потом я со взмахом поднялся на другую сторону оврага. Тут долго ждал. Л.Н., засучив за пояс полы свитки, держась осторожно за стволы деревьев и ветки кустов, спускался. Сошел к ручейку и, сидя, спустился, переполз по льду, на четвереньках выполз на берег, потом, подойдя к крутому подъему, хватаясь за ветки, поднимался, отдыхая подолгу, очень задыхался. Я отвернулся, чтобы Л.Н. не торопился. Желал ему помочь, но боялся его беспокоить...»

Даже врач понимал, что вмешиваться в этот процесс нельзя! Это только рассердит великого старца. Это такое же святотатство, как если войти в его кабинет утром и пытаться помочь ему в его работе. И как знать, может быть, глядя на ползущего на четвереньках по краю оврага величайшего из писателей мира, Маковицкий вспоминал его слова, сказанные два месяца назад, за обедом:

– Я наблюдал муравьев. Они ползли по дереву – вверх и вниз. Я не знаю, что они могли там брать? Но только у тех, которые ползут вверх, брюшко маленькое, обыкновенное, а у тех, которые спускаются, толстое, тяжелое. Видимо, они набирали что-то внутрь себя. И так он ползет, только свою дорожку знает. По дереву – неровности, наросты, он их обходит и ползет дальше... На старости мне как-то особенно удивительно, когда я так смотрю на муравьев, на деревья. И что перед этим значат эти аэропланы! Так это всё грубо, аляповато!

На множестве фотографий старого Толстого мы не видим этой динамики. Фотографии того времени не всегда могли передать движение, требовалось несколько секунд выдержки, чтобы сделать фотоснимок. К счастью, кинохроника донесла до нас Толстого в движении. Особенно впечатляют кадры, когда он один-одинешенек идет по «прешпекту», березовой аллее, ведущей из усадьбы на дорогу. Это движение опытного ходока. Ноги расслаблены, полусогнуты в коленях, походка кажется мешковатой. Ступни резко выбрасываются в стороны. Создается впечатление, что ноги болтаются отдельно от тела, как у тряпичной куклы.

Но именно так идут настоящие ходоки. Смешно, расслабленно, выписывая дурацкие кренделя, словно кривляясь. На самом деле – максимально используют инерцию маха ноги.

Неумение ходить, рассчитывая свои силы, погубило героя рассказа Толстого «Много ли человеку земли надо» крестьянина Пахома. Башкирцы предложили ему взять себе столько земли, сколько он обойдет до захода солнца. И вот, одержимый жадностью, Пахом покрывает версту за верстой, стараясь обойти побольше даровой земли, а когда приходит к финишу, падает замертво. Конечно, мораль рассказа в том, что Пахома погубила жадность, а человеку, в конце концов, нужно ровно столько земли, сколько занимает его могила. Но есть в этом рассказе и лукавый взгляд на мужичка, который решил, что пешком обойти свою землю – плевое дело, совсем не то, что трудиться на ней. Толстой, на протяжении десятков лет чуть не ежедневно обходивший владения в Ясной и тем не менее, постоянно блуждавший в них, знал эту коварность вроде бы открытого взору, незащищенного пространства; как оно легко может сбить с толку и даже погубить неопытного ходока.

Знал он и то, что бегство (а Пахом, прежде чем оказаться в Башкирии, бежит от одной земли к другой в поисках лучшей доли) не решает проблем. И тем не менее очень многие его герои всё время куда-то уходят и бегут, бегут и уходят.

Перекасти-поле

Оленин бежит на Кавказ, а молодой Нехлюдов в «Утре помещика» убегает из университета в деревню. Граф Турбин в «Двух гусаках» внезапно появляется в губернском городе К. и так же внезапно исчезает. Блуждает в степи герой рассказа «Метель». Болконский бежит в действующую армию. Наташа Ростова сбегает с Анатоном Курагиным. Пьер Безухов бродит по полям сражений и разоренной Москве. Анна Каренина уходит от мужа, а Вронский после ее гибели не находит другого выхода, как бежать на сербскую войну. Уходит по этапу за Катей Масловой другой Нехлюдов в романе «Воскресение». Отец Сергей бежит от земной славы, а император Александр в образе старца скрывается в Сибири. Странствует герой-злодей «Фальшивого купона» и тоже оказывается в Сибири. В рассказе «Два старика» крестьяне пешком идут в Иерусалим. Потерялись в степи купец Василий и работник Никита в повести «Хозяин и работник». Заблудился на охоте и испытал смертный ужас герой «Записок сумасшедшего». Пробиваясь из окружения, погибает Хаджи-Мурат. И это далеко не полный список бегущих и уходящих персонажей Толстого.

Но есть и последняя форма бегства – самоубийство. Этот путь выбирают третий Нехлюдов в «Записках маркёра», Федя Протасов в «Живом трупе» и Евгений в повести «Дьявол». Падает под поезд Анна Каренина, а Константин Левин в самое счастливое время думает о самоубийстве.

Кажется, только в одном произведении Толстого бегство имеет счастливый и ясный финал. Это написанный для детей рассказ «Кавказский пленник». В остальных произведениях уход и бегство не решают проблем, но открывают их новый список с чистого листа. Даже смерть не избавляет героев от этого. В «Записках маркёра» Нехлюдов, перед тем как покончить с собой, вдруг с удивлением понимает, что смерть ровно ничего не решает.

«Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой нисколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые, бог знает зачем, дано воображать человеку. Мысли о том, что будет за гробом и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму».

В «Поликушке» самоубийство главного героя, потерявшего деньги барыни, оказывается проходным эпизодом, после которого события с потерянными деньгами продолжают развиваться. Смерть Протасова не решает проблем его жены и ее нового мужа. Ведь факт двоемужества уже доказан, а добровольная смерть Протасова не является аргументом для следствия, что это двоемужество не было сознательным. Собственно, непонятно, в чем состоит «благодеяние» Протасова жене и каким образом его смерть спасет ее от позора, а, быть может, и ссылки в Сибирь?

Но если и окончательное бегство из жизни не решает проблем этой самой жизни, что говорить о бегстве в пространстве? Лишенный «райского» отношения к миру, человек обречен на «непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях» и, как результат, на блуждание по жизни. Он становится «перекасти-полем». Его несет ветром в непредсказуемых направлениях, пока не найдется тихое, защищенное от ветра место, где бедное растение могло бы зацепиться за почву.

Таким местом для Толстого, определенно, могла стать только Ясная Поляна, и недаром именно туда он бросился в начале своего бегства. Но первый опыт хозяйствования в деревне оказался неудачным. Причины этой неудачи он прекрасно показал в рассказе «Утро поме-

щика». По своей свободолюбивой натуре Толстой не мог быть хорошим рабовладельцем, и до освобождения крестьян в 1861 году нечего было и думать об устройении отдельно взятого крестьянского рая в крепостной России.

Но и почти все будущие попытки Л.Н. вести рациональное хозяйство, как правило, заканчивались неудачей. За исключением садов и лесных насаждений. Он был слишком азартным хозяином, и если брался за какое-то дело (пчеловодство, свиноводство, винокуренный завод, разведение лошадей), то отдавался ему с поэтической страстью; хозяйство же требует холодного расчета и распределения сил.

В мае 1847 года он приезжает из Казани в Ясную, а осенью 1848 года уже бежит в Москву, где живет «очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели». А в феврале 1849 года уезжает в Петербург, влекомый «неопределенной жадой знаний». Перед ним два пути: стать военным или чиновником. «Жажда знаний» победила честолюбие, и в начале 1849 года он выдержал два экзамена по уголовному праву и процессам в Петербургском университете. Но «наступила весна, и прелесть деревенской жизни снова потянула меня в имение».

Так проходит трехлетний период непрерывного разброда и шатаний. То он мечтает о службе в Министерстве иностранных дел, то собирается поступить юнкером в конногвардейский полк, чтобы принять участие в венгерском походе, то с наступлением весны бежит к «прелестям деревенской жизни», то намерен снять в аренду почтовую станцию...

В это время он бросает начатый в Казани дневник, но его письма к старшему брату Сергею донесли до нас его тогдашние настроения.

13 февраля 1849 года: «Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться навеки... Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменялся, скажешь: „это уж в 20-й раз, и все из тебя пути нет“, „самый пустяшный малый“, – нет, я теперь совсем иначе переменялся, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: „дай-ка я переменюсь“, а теперь я вижу, что я переменялся, и говорю: „я переменялся“».

1 мая: «Сережа! Ты, я думаю, уже говоришь, что я „самый пустяшный малый“, и говоришь правду. Бог знает, что я наделал. Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо! Невыносимо глупо!»

11 мая: «В последнем письме моем я писал тебе разные глупости, из которых главная та, что я был намерен вступить в конногвардию; теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамена не выдержу и война будет серьезная».

Той же весной «без гроша денег и кругом должен» Толстой возвращается в Ясную Поляну с пьющим немцем-музыкантом по имени Рудольф и страстно предается музыке. Он даже начинает, но не заканчивает статью «Основные начала музыки и правила к изучению оной». Оцените эти опорные слова: *основные* и *правила*.

До отъезда в апреле 1851 года с братом Николаем на Кавказ Л.Н. ведет мучительную для себя двойную жизнь, разрываясь между Москвой и Ясной Полянкой. В Ясной – прогулки, гимнастика, музыка, английский язык, Гёте, замысел «Детства». В Москве – карты, кутежи, цыгане, девки и долги, долги... В Ясной – добрый ангел-хранитель, тетенька Татьяна Александровна Ергольская, набожная старая дева, в которую когда-то был влюблен отец Л.Н., но которая отказалась выйти за него замуж, тем не менее посвятив себя воспитанию его детей. С ней по вечерам – беседы за чаем о предках, о старинной жизни. В Москве – «совершенно скотская» жизнь, которую он пытается упорядочить с помощью каких-то «правил».

Дневник от 24 декабря 1850 года: «Правила. В карты играть только в крайних случаях. – Как можно меньше про себя рассказывать. Говорить громко и отчетливо. – Правила. Каждый день делать моцион. – Сообразно закону религии, женщин не иметь».

17 января 1851 года: «Правило... 1) Попасть в круг игроков и, при деньгах, играть. 2) Попасть в высокий свет и, при известных условиях, жениться. 3) Найти место выгодное для службы».

Мечты Толстого о карьере закончились зачислением в Тульское губернское правление канцелярским служителем с получением чина коллежского регистратора. Это низший гражданский чин 14 класса петровской «Табели о рангах». Его иронически называли «не бей меня в морду», поскольку лицам недворянского происхождения он давал потомственное почетное гражданство, что освобождало от телесных наказаний. «И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди...» – писал в «Мертвых душах» Гоголь.

Между тем молодой Толстой страшно честолюбив! Недаром в «Исповеди» он поставит честолюбие на первое место среди пороков своей молодости. Но в чем реально выразилось это честолюбие, кроме неясных карьерных притязаний и неотчетливого стремления отправиться на войну? Уж конечно, не в бегстве на Кавказ.

В письме к Т.А. Ергольской из Тифлиса он называет эту поездку «внезапно пришедшей в голову фантазией». Насколько внезапно могли ему приходить в голову подобные фантазии, можно судить по тому, что осенью 1848 года он едва не уехал в Сибирь со своим будущим зятем Валерианом Толстым: вскочил к нему в тарантас в одной блузе, без шапки и не уехал, кажется, только потому, что забыл шапку. (Ох, эти шапки! Полвека спустя, уходя из яснополянского дома навсегда, он тоже потеряет шапку и должен будет вернуться за новой. Это была дурная примета, а Л.Н., не признавая религиозные обряды, верил в приметы.)

Интересно, что бегство на Кавказ тоже косвенным образом было связано с беспутным Валерианом Толстым, который к тому времени уже был женат на сестре Л.Н. Марии Николаевне. В его имении Покровском под Чернью на Новый (1851-й) год произошла после четырехлетней разлуки встреча двух братьев, Николая и Льва. Николенька служил на Кавказе. Терзаемый раздвоением внешней и внутренней жизни, запутавшийся в долгах, разочарованный в хозяйстве и карьере, младший брат решает последовать за ним, без всякого плана, едва ли не для того, чтобы просто прокатиться, развеяться. Тем более что вечный выдумщик Николенька разработал необычный маршрут: ехать до Саратова, а до Астрахани сплавляться на лодке. Путешествие получилось великолепным. По дороге Толстой успел влюбиться в Казани в Зинаиду Молоствову, о чем написал в Сызрани совершенно легкомысленные стихи: «Лишь подъехавши к Сызрану, я ощупал свою рану...» Но, оказавшись 30 мая в станице Старогладковской, он с некоторым изумлением пишет в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

Из Старогладковской он едет с братом в село Старый Юрт, любуясь видом гор и горячих источников, где яйца за три минуты варятся вкрутую и где живописные татарки ногами стирают белье. Бегство на Кавказ было таким спешным, что он оказался там без необходимых бумаг, которых дожидался из Тулы еще четыре месяца, после чего предстал в Тифлисе пред очами генерал-майора Эдуарда Владимировича Бриммера, начальника артиллерии Отдельного кавказского корпуса. Но и тульских бумаг было недостаточно, пришлось дожидаться документов из Петербурга. Официально на военную службу Толстой был зачислен в феврале 1852 года. Карьера так не делается. Да и не ехали на Кавказ за карьерой.

Тем не менее именно честолюбие спасло Толстого от сползания в пропасть, от «скотской» московской жизни. Нет, не то чтобы жизнь на Кавказе, где он провел почти три года, была менее «скотской» по его завышенным нравственным критериям. Карты, долги, доступные девки – всего этого он хлебнул с избытком, с добавкой в виде гарнизонной пошлости: «Какой-то офицер говорил, что он знает, какие я штуки хочу показать дамам, и предполагал только, принимая в соображение свой малый рост, что, несмотря на то, что у него в меньших размерах, он такие же может показать» (дневник от 4 июля 1851 года).

Но природа Кавказа, самый воздух, прозрачный, как прозрачны отношения здесь между людьми, вместе с честолюбивым желанием громко заявить о себе миру и семье, доказать, что

он не «пустяшный малый», явились прекрасным стимулом к творчеству. На Кавказе Толстой родился как писатель. Причем сразу – как великий писатель, автор «Детства» и «Отрочества».

Строго обзревая свою молодость, Толстой признавал, что «стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости» («Исповедь»). Любой серьезный писатель, положив руку на сердце, знает, что это так, что первые произведения не пишутся из духовных соображений или, во всяком случае, высокие соображения сильно подогреваются желанием славы и денег. Но подобно тому как Кавказ оказался выше ребячества и молодечества Л.Н., атмосфера творчества была выше и глубже его честолюбия. Но главное – это и было то место, где могло остановиться «перекати-поле» и пустить первые корни...

Глава третья

Сонечка и дьявол

– Как здесь хорошо! – воскликнул Толстой, когда увидел комнату, предоставленную в Оптиной пустыни гостинником братом Михаилом. Просторная, в три окна, с кисейными занавесками, с горшками фикусов, с большим образом Спасителя в углу, со старинным диваном и круглым столом перед ним, со вторым мягким диваном и желтыми деревянными, вделанными в пол ширмами, скрывающими удобную постель, – это была лучшая комната в гостинице. Когда Толстой ложился, он попросил еще один столик и свечку. Перед сном выпил чая. Брат Михаил принес ему антоновских яблок. Л.Н. похвалил яблоки и спросил:

– Нет ли у вас медку, брат Михаил? Ведь вы мантии не принимали еще, вот я вас и буду звать «братом».

Михаил принес ему и меда.

Но радость его была преждевременной... Ночь, проведенная в Оптиной, оказалась очень беспокойной. Хотя Маковицкий, не желая нарушать привычки Толстого спать в комнате одному, отправился ночевать в другой номер, напротив.

По коридору всю ночь бегали кошки, прыгали на мебель, расположенную у стены, за которой спал Толстой. Потом выходила в коридор выть какая-то женщина. У нее днем умер брат, монах-лавочник. Рано утром она пришла к графу и умоляла его пристроить ее малютку. Упала перед ним на колени. Толстой тяжело переносил, когда перед ним стояли на коленях. Когда это делали посетители Ясной Поляны, Л.Н. сам становился перед ними на колени, чтобы прекратить это.

В 7 часов утра он вышел из комнаты и в коридоре встретился с Алешей Сергеенко, секретарем Черткова, двадцатичетырехлетним сыном знакомого писателя Петра Алексеевича Сергеенко. Алеша принадлежал к избранному кругу посвященных в последние секреты жизни Толстого в Ясной Поляне, в том числе в историю его конфликтов с женой. Поэтому Алексею выпала одновременно почетная и неприятная миссия известить Толстого о том, что случилось в Ясной после его исчезновения.

Но откуда Алеша Сергеенко знал, что Толстой находится в Оптиной? Очень просто. Еще из Щекина Л.Н. отправил телеграмму Саше со словами «Поедем, вероятно, в Оптину... Пожалуйста, голубушка, как только узнаешь, где я, а узнаешь это очень скоро, – извести меня обо всем: как принято известие о моем отъезде, и всё чем подробнее, тем лучше».

Вот и вся конспирация. Но если бы и не было этой телеграммы... О том, что Л.Н. с Маковицким отправились в Козельск, знали на станции Щекино близ Ясной все, от начальника до кассира. Догадаться, что из Козельска он поедет к сестре в Шамордино, а по дороге не минует Оптину, где он бывал в зрелом возрасте три раза и где похоронены его тетки Александра Ильинична Остен-Сакен и Елизавета Александровна Толстая, было несложно. Вряд ли об этом не догадалась и С.А., посылавшая своего человека на станцию узнать, куда взял билет Л.Н.

Отправлять в качестве визитера к бежавшему Толстому Сергеенко было недобрым решением по отношению к С.А. со стороны ее дочери Саши и Черткова. С самого начала Толстой окружался людьми, настроенными недоброжелательно к ней, из их уст узнавая, что происходит без него в Ясной Поляне.

Отец Алеши Сергеенко был автором «драматической хроники в 4-х частях» «Ксантиппа» о сварливой жене Сократа, отравившей ему жизнь не хуже чаши с цикутой. В этой пьесе, впервые напечатанной в приложении к «Ниве» в 1899 году, отчетливо просматривались Л.Н. и его жена, о чем писал в своем дневнике зять Толстого М.С. Сухотин. Если этого не понимала широкая публика, то хорошо понимали в семье Толстого.

Мы не знаем, в каких словах и выражениях, с какими комментариями рассказывал Сергеенко о попытке С.А. утопиться в пруду. Мы знаем только, что рассказ этот произвел очень тяжелое впечатление на Толстого и вызвал по отношению к жене не только жалость, но и недоброе чувство.

«Спал тревожно, – записывает Толстой в дневнике 29 октября, – утром Алеша Сергеенко... Я, не поняв, встретил его весело. Но привезенные им известия ужасны. Они догадались, где я, и Софья Андреевна просила Андрея (сын Толстого. – *П.Б.*) во что бы то ни стало найти меня. И я теперь, вечер 29, ожидаю приезда Андрея... Мне очень тяжело было весь день, да и физически я слаб».

«Дневник для одного себя»: «Приехал Сергеенко. Всё то же, еще хуже. Только бы не согрешить. И не иметь зла. Теперь нету». Тяжелое чувство, с которым он боролся и которое, как думал, победил, было злостью к жене.

«...если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне», – жалуется в письме к Саше Толстой.

«...я желаю одного – свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто всё ее существо... Видишь, милая, какой я плохой. Не скрываюсь от тебя».

Когда в Шамордине он вошел в келью сестры Марии Николаевны, то впервые после бегства из Ясной заплакал. Сестра была ему рада, но удивилась, что приехал в плохую погоду.

– Боюсь, что у вас дома нехорошо.

– Дома ужасно!

Разговор его несколько раз прерывался его рыданиями: «Подумай, какой ужас: в воду...» Бывшая здесь племянница Е.В. Оболенская предложила выпить воды... Толстой отказался...

Утопленница

После отъезда отца Саша долго сидела в кресле, закутавшись в одеяло. Ее трясло, как в лихорадке. Она отсчитывала минуты и часы. Поезд из Щекина отправлялся в восемь. В восемь часов утра она стала бродить по комнатам. Ей встретился старый слуга Илья Васильевич. Он уже понял, что случилось.

– Лев Николаевич мне говорил, что собирается уехать, а нынче я догадался по платью, что его нет...

Уже шушукались остальные слуги, строя предположения, а С.А. еще спала. Она встала поздно, в 11 часов, и, почувствовав по поведению слуг нехорошее, побежала к Саше.

– Где папá?

– Уехал.

– Куда?

– Не знаю.

Саша подала прощальное письмо отца. С.А. быстро пробежала его глазами... Голова ее тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами.

Она не дочитала письмо, бросила его на пол и с криком: «Ушел, ушел совсем, прощай, Саша, я утоплюсь!» – побежала к пруду.

Так это выглядит в воспоминаниях Александры Львовны. В дневнике Валентина Булгакова это описано более подробно.

«Когда я утром, часов в одиннадцать, пришел в Ясную Поляну, Софья Андреевна только что проснулась и оделась. Заглянула в комнату Льва Николаевича и не нашла его. Выбежала в „ремингтонную“, потом в библиотеку. Тут ей сказали об уходе Льва Николаевича, подали его письмо.

– Боже мой! – прошептала Софья Андреевна.

Разорвала конверт письма и прочла первую строчку: „Отъезд мой огорчит тебя...“ Не могла продолжать, бросила письмо на стол в библиотеке и побежала к себе, шепча:

– Боже мой!.. Что он со мной делает!..

– Да вы прочтите письмо, может быть, там что-нибудь есть! – кричали ей вдогонку Александра Львовна и Варвара Михайловна, но она их не слушала.

Тотчас кто-то из прислуги бежит и кричит, что Софья Андреевна побежала в парк к пруду.

– Выследите ее, вы в сапогах! – обратилась ко мне Александра Львовна и побежала надевать калоши.

Я выбежал во двор, в парк. Серое платье Софьи Андреевны мелькало вдали между деревьями: она быстро шла по липовой аллее вниз, к пруду. Прячась за деревьями, я пошел за ней. Потом побежал.

– Не бегите бегом! – крикнула мне сзади Александра Львовна.

Я оглянулся. Позади шло уже несколько человек: повар Семен Николаевич, лакей Ваня и другие.

Вот Софья Андреевна свернула вбок, всё к пруду. Скрылась за кустами. Александра Львовна стремительно летит мимо меня, шумя юбками. Я бросился тоже бегом за ней. Медлить было нельзя: Софья Андреевна была у самого пруда.

Мы подбежали к спуску. Софья Андреевна оглянулась и заметила нас. Она уже миновала спуск. По доске идет на мостки (около купальни), с которых полощут белье. Видимо, торопится. Вдруг поскользнулась – и с грохотом

падает на мостки прямо на спину... Цепляясь руками за доски, она ползет к ближайшему краю мостков и перекатывается в воду.

Александра Львовна уже на мостках. Тоже падает, на скользком месте, при входе на них... На мостках и я. Александра Львовна прыгает в воду. Я делаю то же. С мостков еще вижу фигуру Софьи Андреевны: лицом кверху, с раскрытым ртом, в который уже залилась, должно быть, вода, беспомощно разводя руками, она погружается в воду... Вот вода покрыла ее всю.

К счастью, мы с Александрой Львовной чувствуем под ногами дно. Софья Андреевна счастливо упала, поскользнувшись. Если бы она бросилась с мостков прямо, там дна бы не достать. Средний пруд очень глубок, в нем тонули люди... Около берега нам – по грудь.

С Александрой Львовной мы тащим Софью Андреевну кверху, подсаживаем на бревно козел, потом – на самые мостки.

Подоспевает лакей Ваня Шураев. С ним вдвоем мы с трудом поднимаем тяжелую, всю мокрую Софью Андреевну и ведем ее на берег.

Александра Львовна бежит переодеться, поощряемая вышедшей за ней из дома Варварой Михайловной.

Ваня, я, повар увлекаем потихоньку Софью Андреевну к дому. Она жалеет, что вынули ее из воды. Идти ей трудно. В одном месте она бессильно опускается на землю:

– Я только немного посижу!.. Дайте мне посидеть!..

Но об этом нельзя и думать: Софье Андреевне необходимо скорее переодеться...

Мы с Ваней складываем руки в виде сиденья, с помощью повара и других усаживаем Софью Андреевну и несем. Но скоро она просит спустить ее».

После первой попытки самоубийства за С.А. стали следить. Отобрали у нее опиум, перочинный нож, тяжелое пресс-папье. Но она повторяла, что найдет способ покончить с собой. Через час ей удалось выбежать из дома. Булгаков нагнал ее по дороге к тому же пруду и силой привел домой.

– Как сын, как родной сын!.. – говорила она ему.

Эта история с двойной попыткой самоубийства не может не вызывать сострадания. Нужно обладать слишком черствой душой, чтобы увидеть в этом только стремление произвести эффект и напугать близких, а через них – мужа, заставить его вернуться.

Ну что ей теперь были его слова, пусть даже самые хорошие, добрые и правильные? Что ей теперь были его слова в сравнении с его поступком, который заметит весь мир и который (она прекрасно это понимала!) войдет в историю. Но войдет в эту историю и она, от которой так или иначе ушел ее великий муж.

Даже для простых женщин с простыми мужьями уход мужа болезнен не только по причине, что их оставили, но и по тому, как они выглядят в глазах окружающих. Значит, она была плохой женой? Все годы? Или, может, она стала плохой, когда состарилась? А пока была молода, она его устраивала? Пока была сильной, здоровой, привлекательной?

Конфликт мужа и жены – это еще и соперничество за свою правоту в мнении окружающих. Как ни велик был Толстой, он тоже зависел от этого мнения. Что же говорить о его жене?

После ухода Л.Н. она оказалась в одиночестве и «кругом не права». Весь дом, включая родную дочь, был на стороне несчастного беглеца. Как женщина она была обижена, как человек – оскорблена. Как мужчина, ее муж поступил сильно и по-своему красиво (никто ведь, кроме двух-трех людей, не видел его дрожащим в каретном сарае). Как человек, он совершил последний в своей жизни выбор в пользу независимости и духовной свободы (Толстой ведь

еще не сошел в Астапове, поддерживаемый под руки, в поисках обычной кровати, где бы он мог просто лечь).

Прежде чем осуждать ее за слишком эффектную попытку самоубийства (да, можно было сделать это как-то иначе, но кто смеет об этом судить!), нужно оценить всю степень ее одиночества. На стороне мужа был весь дом и весь образованный мир. На ее стороне была только часть ее сыновей, но как раз их-то в тот момент и не было. Они приехали на следующий день, вызванные телеграммами Саши. А ведь это прежде всего ради них, запутавшихся в долгах, она пошла на конфликт с мужем из-за наследства. И некому было взять ее под руку, кроме Булгакова, в общем-то чужого ей, как и все секретари Толстого, засылаемые в их дом ненавистным ей Чертковым.

Не нам судить о том, что происходило в душе С.А. и как истерическое состояние уживалось в ней с хитростью. Конечно, сцена с бегством на пруд и падением в воду была ею отчасти разыграна (неслучайно, пишет Булгаков, она оглядывалась на своих преследователей). Но вовсе не с целью симулировать самоубийство, как она неоднократно делала раньше, стреляя в своей комнате из пугача, или говоря, что выпила всю склянку опиума, или ложась в платье на холодную землю в саду. Теперь ей было не до симуляции. Она должна была довершить то, чем пугала весь дом во время конфликтов с мужем, чего она не совершила и сейчас, возможно, очень об этом жалела. Ах, если бы она утопилась до его ухода, как не раз грозила! Крайним в этой истории оказался бы он. Это он погубил бы жену, которая беззаветно служила ему сорок восемь лет, воспитывала его детей, переписывала его рукописи и кормила его больного с ложечки. Это он был бы *злодеем*, а она *мученицей*.

Одна из глав обширных мемуаров С.А. под названием «Моя жизнь» называется «Мученик и мученица». Здесь было бы правильней вместо «и» поставить «или». В самом деле, кто был жертвой? Она, обычная женщина, назначенная служить гению, или он, гений, обреченный жить с обычной женщиной? Словесного ответа на этот вопрос быть не может. Ответом, который бы всех убедил, мог быть только поступок. И вот его-то Л.Н. совершил первым. Что ей оставалось? Смириться с поражением и войти в историю «кругом виноватой»? Для этого она была слишком гордой. Жаловаться, оправдываться? В конце концов, именно это ей и придется делать в Астапове в окружении корреспондентов. Но в первый момент, в состоянии шока, она попыталась тоже совершить красивый (как ей казалось) поступок, внести в роман жизни с Толстым свой независимый сюжет. Утонуть если не на глазах мужа, то на глазах тех, кто его поддерживал, а ее осуждал.

Не забудем, что она была женой величайшего романиста мира, автора «Анны Карениной». И если бы Курская железная дорога проходила не в нескольких верстах, но рядом с яснополянским домом, можно не сомневаться, что сюжет с попыткой самоубийства оказался бы другим. Она ведь однажды уже отправилась к железной дороге, как Анна Каренина, с мыслью, что «всё ложь, всё обман, всё зло», но случайно встретившийся по пути муж сестры, Кузминский, вернул ее домой.

В стиле ее поведения после ухода мужа было много неприятного, режущего слух и зрение. В стиле семейных конфликтов вообще мало приятного. И есть ли в них какой-нибудь стиль?

(Не)возможность рая

Но вернемся в прошлое. В этой книге нет смысла подробно останавливаться на армейском периоде жизни Толстого с 1851 по 1855 годы на Кавказе, в Румынии и Крыму. Толстой был хорошим солдатом и офицером, однако невыдающимся и несколько странным. Он был храбр, силен физически, был прекрасным товарищем, картежником и немного поэтом, написавшим сатирическую «Песню про сражение на реке Черной», которую охотно распевали солдаты и офицеры на привалах и которая в разных вариантах вошла в военный фольклор. Странности его заключались в том, что он часто был задумчив, был оригинален в суждениях и не желал пользоваться деньгами из казенного кармана, даже когда это позволялось негласным офицерским кодексом. Но главное – он был каким-то *нелюбимым*, по выражению Ерошки в «Казаках». Это народное выражение нельзя без потери смысла перевести на литературный язык. Кем *нелюбимым*? Женщинами, судьбой? Да всеми сразу! Толстой был неловок с женщинами, неудачлив в карьере, в карточной игре. Но конечно, этим не исчерпывается сложное слово «*нелюбимый*», которое, тем не менее, прекрасно понимали простой казак Ерошка и князь Оленин.

Но благодаря этому молодой Толстой и состоялся как писатель, реализуя в литературе то, чего не доставало в жизни. Ранний сирота написал самое поэтичное в русской литературе произведение о детстве. Отнюдь не поклонник войны воспел героизм русских солдат и офицеров в осажденном Севастополе, да так, что над «Севастополем в декабре» плакали императрица, строгий литературный ценитель Иван Тургенев и юный цесаревич (будущий Александр III), а молодой царь Александр II распорядился перевести рассказ на французский язык и даже, по слухам, направил в Крым фельдъегеря, чтобы талантливого офицера-писателя откомандировали в безопасное место.

Толстой был, как выражались, порядочным офицером, но не более того. Ни сомнительная героика войны, ни еще более сомнительная офицерская карьера во время покорения Кавказа и провала русско-турецкой кампании не привлекали его. Во всяком случае, не захватывали его целиком. А Толстой был очень цельным человеком, и уж если он чего-то желал, то желал исключительно.

Чего же хотел молодой Толстой? Любви и счастья. Определенно он хотел поселиться в Ясной Поляне и жениться. Писательство не привлекало его до такой степени, как вполне заурядная перспектива помещичьей жизни в усадьбе с преданной женой и портретами предков на стенах уютного дома. Литературный успех утолял его тщеславие, но не подчинял себе душевные силы. Литературная карьера требовала компромисса – с редакторами, издателями, цензурой, – а это не отвечало его представлению об идеале, совершенстве, «рае», в конце концов.

Ясная Поляна + женитьба наиболее близко стояли возле идеала. Это был предметный и олицетворенный «рай», который он нарисовал в письме из Моздока Т.А. Ергольской в январе 1852 года:

«Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в *Ясном* – дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; вы всё еще живете в *Ясном*. Вы немного постарели, но всё еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать; потом начинается беседа. Я рассказываю вам о своей жизни на Кавказе, вы – ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери; вы рассказываете *страшные истории*, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем о тех, кто нам были дороги и которых уже нет; вы плачете, и я

тоже, но мирными слезами... Я женат – моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут „бабушкой“; вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; всё в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папá, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли; вы берете роль бабушки, но вы еще добрее ее, я – роль папá, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена – мамá...»

В этой картине, на первый взгляд, идиллической, Толстой деспотически расписывает все роли, которые должны взять на себя будущие обитатели Ясной, или *Ясного*, как тогда было принято называть имение в мужском роде с патриархальным звучанием. Он – папá, т. е. Николай Ильич Толстой, завершивший дело своего тестя, Николая Сергеевича Волконского по строительству яснополянского усадебного комплекса. Дальней родственнице Т.А. Ергольской отводится почетное место «бабушки», т. е. матери отца, Пелагеи Николаевны, урожденной княжны Горчаковой, властной, капризной, третировавшей своих слуг, но обожавшей сына Николая и не пережившей его смерти. Жене отводится роль мамá, Марии Николаевны Толстой, урожденной Волконской.

Это место в письме особенно важно. Если бы Соня Берс, перед тем как стать графиней Толстой, прочитала это письмо, она догадалась бы, какую роль готовит ей будущий супруг. Быть одновременно его женой и матерью.

Отца Толстой помнил, любил, гордился им и хотел ему подражать, а мать почти не знал, но боготворил, изобразив ее в образе княжны Марьи в «Войне и мире». Культ матери Толстой пронес через всю жизнь, к старости этот культ даже проявлялся в нем с куда большей силой. То, что он не помнил ее лица, а портретных изображений не было, только усиливало этот культ, превращая мать из земной женщины в образ Мадонны. Неслучайно репродукция полюбившейся ему в Дрездене «Сикстинской Мадонны» Рафаэля с 1862 по 1885 годы висела в его спальне, а затем перекочевала в кабинет, где и находится в яснополянском музее до сих пор.

В матери был воплощен его женский идеал, и вот его-то он бессознательно требовал от будущей жены. Вместе с тем она должна была стать и матерью в обычном смысле. Причем детям тоже отводилась своя роль в домашнем «рае». Они должны были повторить детство детей Марии Николаевны и Николая Ильича. «...наши дети – наши роли», – пишет он Ергольской. И еще она должна быть прекрасной хозяйкой. «Я воображаю... как жена моя будет хлопотать...» И еще... Чего еще он ждал от будущей жены, мы узнаем из рассказа «Утро помещика»:

«Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я всё знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы».

Впоследствии С.А. многое из этой картины воплотила в жизнь. В молодости носила простые короткие платья, лечила деревенских женщин. Она была прекрасной матерью и хозяйкой. В мечтах Нехлюдова из «Утра помещика» легко обнаружить и эротический подтекст. Жена должна быть ангелом, но со «стройной ножкой», «хорошенькой головкой», «румяными губами». С.А. не была красавицей, но ее привлекательность в молодости и молодость в пожилые годы отмечали все.

В письме к Ергольской Толстой распределяет роли и для своих братьев. «Три новых лица будут являться время от времени на сцену – это братья, и, главное, один из них – Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный. Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. Как дети будут целовать у него сильные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть...»

И наконец – сестра Мария Николаевна, Машенька. Он отводит ей роль обеих сестер отца, Александры Ильиничны и Пелагеи Ильиничны. Только она не будет «несчастлива, как они».

Но возникает вопрос: насколько всё это было серьезно? Может быть, бежавший на Кавказ Толстой размышлял, остановившись в Моздоке? Хотел потешить старую тетюшку и самого себя?

Спустя пять лет он напишет брату Сергею: «Ты напрасно думаешь, что эта любовь к семейной жизни – мечта, которая мне опротивеет. Я семьянин по натуре, у меня все вкусы такие были и в юности, а теперь подавно. В этом я убежден так, как в том, что я живу».

Из четырех братьев Толстых (Николая, Сергея, Дмитрия и Льва) только последний обрел семейное счастье. Это счастье завершилось катастрофой, но катастрофа имела прелюдию в сорок восемь лет, из которых, по крайней мере, первые пятнадцать были всё-таки счастливыми. Николай и Дмитрий умерли холостяками. Сергей всю жизнь прожил с выкупленной из табора цыганкой Машей, и хотя по-своему любил ее, жил с ней, скорее, по долгу чести, а не по любви. Несчастной в браке оказалась единственная сестра Толстых, Мария, ушедшая от мужа с детьми и родившая в Европе незаконного ребенка, а на склоне лет обратившаяся в монахини. Все дети Льва Толстого, кроме тех, кто умер в младенчестве, стали заметными людьми, талантливыми и самобытными. Сегодня одних прямых потомков Толстого в разных странах проживает более трехсот пятидесяти человек, и все они поддерживают связь друг с другом. Это ли не свидетельство, что семейный проект Л.Н. и С.А. состоялся.

Но мог ли состояться семейный рай?

Внимательно вчитываясь в письмо к Ергольской, нельзя не поразиться, как он мастерски нарисовал этот рай в реальной и в мистической проекциях. Бог-отец. В реальной перспективе – это три поколения мужчин Волконских-Толстых: дед Николай Сергеевич (образ старика Болконского в «Войне и мире»), отец Николай Ильич (Николай Ростов) и сын Лев Николаевич. Пусть в глазах старших братьев он пока еще «пустяшный малый». Но Ясная принадлежит ему, и одно это дает ему законное право на продолжение перспективы Бога-отца. Святая Дева. В мистической проекции – мать, а в реальной – еще неизвестная, но идеальная жена. Святой Дух. Конечно, это тетенька Ергольская, душа дома, хранительница семейных преданий. Ангелы – дети. И архангелы – старшие братья.

В этой картине не хватает одного лица. Иисуса Христа. Отношение его к Христу в 1852 году было еще неопределенным. В «Исповеди» он уверяет, что в то время был вовсе атеистом, но это неправда. Кавказский дневник говорит о том, как порой горячо и страстно обращался он к Богу-отцу, Создателю мира. Но что касается христианства, здесь всё было очень неопределенно.

7 июля 1854 года, находясь в Румынии, Толстой пишет в дневнике: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и

вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием!»

Эта картина через шесть дней дополняется важным признанием: «Моя молитва. Верую во единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю веровать в религию отцов моих и уважаю ее».

В Бога-отца верит, а христианином и православным желает быть. Прежде всего потому, что это религия отцов. Это правила, но не искренняя вера. Через тридцать лет, в 1881 году, он будет вести дневник, который назовет «Записками христианина». Его отношение к Христу станет вполне определенным. Но как раз это и будет означать разрыв с «религией отцов».

Синдром Подколесина

Всматриваясь в историю сватовства и женитьбы Толстого на Сонечке Берс, невозможно отделаться от сравнения ее героя с персонажем гоголевской комедии «Женитьба», надворным советником Подколесиным. Та поспешность, с которой готовилась свадьба, а с другой стороны – нерешительность жениха и готовность сбежать перед венчанием напоминают сюжет «Женитьбы», где Подколесин бежит от невесты через окошко перед тем, как ехать в церковь.

Но разве можно сравнивать великого Толстого с ничтожным Подколесиным?! Заглянем в письмо сестры Толстого Марии Николаевны, написанное из французского курорта Гиера.

Находясь в Гиере, Мария Николаевна вздумала женить брата Льва на племяннице вице-президента Академии наук М.А. Дондукова-Корсакова, известного по эпиграмме Пушкина:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что ж... есть.

Толстой в это время был в Брюсселе и посещал семью князя, где познакомился с его племянницей Екатериной Александровной Дондуковой-Корсаковой. Княжна ему понравилась. В это время он целенаправленно искал невесту, и Мария Николаевна решила, что лучшей невесты не найти. Получив от брата из Брюсселя письмо (оно не сохранилось), где он, видимо, просил выяснить через княгиню, тетюшку Катеньки, в каком состоянии находится сердце девушки, не занято ли неким Гарданом, о чем он имел сведения, она писала ему:

«Ради Бога, не беги от своего счастья; лучше девушки по себе ты не встретишь; и семейная жизнь окончательно привяжет тебя к Ясной Поляне и к твоему делу.

Приезжай, Левочка, в делах сердца, право, мы (т. е. женщины) лучше знаем, – если ты начнешь рассуждать, то всё пропало... Хоть бы кто-нибудь из нашего семейства был счастлив! Не думай, а приезжай... Я со страхом пишу тебе это письмо, боюсь, не уехал ли ты в Россию».

Но чего так боялась М.Н., что писала это письмо «со страхом»? Почему она умоляет брата не бежать от своего счастья?

«Но я именно боюсь в тебе *подколесинскую закуску*. Если это устроится, вдруг тебе покажется, зачем я это всё делаю. К.А., если не влюблена в тебя, чего я не думаю, то, вероятно, полюбит, сделавшись твоей женой, и в ее лета, конечно, можно наверное сказать, не разлюбит и имеет все данные, чтоб быть хорошей, понимающей женой и помощницей и хорошей матерью. Стало быть, с этой стороны ладно. Но чувствуешь ли ты, что серьезно хочешь жениться и заботиться о жене, желать то же, что и другая будет желать, т. е. не делать только исключительно, что тебе хочется, быть менее эгоистом; не придет ли тебе в одно прекрасное утро *тихая ненависть* к жене и мысль, что вот если бы я не был женат, то... вот что страшно! Впрочем, ради Бога, – не анализирую слишком, потому что ты, если начнешь анализировать, непременно во всяком обыкновенном вопросе найдешь камень преткновения и, не зная, как сам отвечать на *что и почему*, обратишься в *бегство*».

Синдром Подколесина – это не болезнь легкомыслия. Это болезнь умственности. Для Толстого, как и для Подколесина, женитьба – слишком серьезный «проект». Настолько серьезный, что когда доходит до дела и начинаешь взвешивать все «за» и «против», возникает столько вопросов, что хочется сбежать.

«**Подколесин.** На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя и уж после ни отговорок, ни раскаянья, ничего, ничего, – всё кончено, всё сделано... Эй, извозчик!»

«После смерти по важности и прежде смерти по времени нет ничего важнее, безвозвратнее брака, – пишет Толстой в дневнике 20 декабря 1896 года. – И так же, как смерть только тогда хороша, когда она неизбежна, а всякая нарочная смерть – дурна, так же и брак. Только тогда брак не зло, когда он непреодолим...»

Это мысль позднего Толстого, которую он любил повторять, как и слова апостола Павла, что лучше жить в браке, чем «разжигаться».

Но в этой мысли есть и другая составляющая – *безвозвратность* брака. Женитьба – это на всю жизнь. Жена может быть только одна. Это полностью совпадает с настроением Подколесина и с самочувствием молодого Толстого.

Разборчивый жених

После совсем еще детской влюбленности в Сонечку Колошину первая попытка объяснения в любви возникла в Казани. В 1851 году по пути на Кавказ на балу Толстой встретился со своей знакомой, подругой и соученицей сестры Маши по казанскому Родионовскому институту Зиной Молостовой. Зиночка не была красавицей, но была девушкой грациозной и мечтательной. Когда Толстой с братом Николаем приехали в Казань, Зинаида была почти невестой Н.В. Тиле, чиновника особых поручений при казанском губернаторе. Тем не менее, на балу в доме предводителя дворянства она все мазурки танцевала (*танцевала*, как писали тогда) с Толстым. Едва ли она была влюблена в него, как и он в нее. Потом она признавалась, что с ним было «интересно, но тяжело». Но в их жизни было одно невинное событие – скорее всего, еще во время студенчества Толстого.

«Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сделал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье».

Это не письмо девушке, как можно подумать. Это записано в дневнике Толстого, уже на Кавказе, в Старом Юрте. Здесь же Толстой спрашивает себя: «Неужели никогда я не увижу ее?.. Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастья. Смешно...»

Это переживания юноши, впервые почувствовавшего себя «большим», способным самостоятельно решать свою судьбу. Их вряд ли можно воспринимать серьезно. Серьезно нужно отнестись к другой записи, сделанной уже через год и тоже на Кавказе, когда Толстой узнал о свадьбе Молостовой и Н.В. Тиле: «Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня».

Здесь уже проявился особенный духовный эгоцентризм Толстого, оценивавшего всех людей и события не по степени их собственной важности, но по тому, как они отразились в его душе, какие чувства в ней подняли. Ему досадно не то, что Зинаида вышла замуж не за него, но что это оставляет его равнодушным. Значит, в нем нет полноты чувства? И он холодная личность? Значит, он не способен любить?

Сравните это место из раннего дневника с одной поздней записью, сделанной в 1909 году: «После обеда пошел к Саше (дочь. – П.В.), она больна. Кабы Саша не читала, написал бы ей приятное. Взял у нее Горького. Читал. Очень плохо. Но, главное, нехорошо, что мне эта ложная оценка неприятна».

Следующей «жертвой» (в этот раз действительно жертвой) семейного «проекта» Толстого стала провинциальная барышня Валерия Арсеньева. Ее имение Судаково находилось в восьми верстах от Ясной Поляны. После смерти соседа Толстых В.М. Арсеньева Л.Н. был назначен опекуном его детей. Когда в конце мая 1856 года Толстой ехал из Москвы в Ясную и посетил Судаково, старшей из детей Валерии было двадцать лет. «Очень мила», – пишет он в дневнике. «Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе».

«Свахой» выступил товарищ Толстого, тульский помещик Д.А. Дьяков. Он был старше Л.Н. на пять лет. Женатый, рассудительный человек, прекрасный хозяин. Но и Толстой к тому времени сильно изменился. Это был не юноша, а муж, прошедший две войны, ставший знаменитым писателем и успевший разочароваться и в войне, и в писателях.

Приехав в качестве курьера из Крыма в Петербург в ноябре 1855 года, Толстой больше не возвращался в армию и через год вышел в отставку. С осени 1855-го до лета 1856 года он

перезнакомился с лучшими писателями России и вошел в самый престижный литературный кружок того времени, кружок журнала «Современник», возглавляемого Некрасовым. В Петербурге он жил в квартире Тургенева, общался с Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Островским, Майковым и другими знаменитостями, но подружился только с Островским и Фетом, почувствовав в них ту же независимость от модных веяний времени и строптивость характера, которые были в нем самом. С Тургеневым отношения с самого начала складывались неважные и скандальные. Двум китам было тесно в одном литературном аквариуме. Через несколько лет дело чуть не кончилось дуэлью на ружьях...

Говоря одним словом, Толстой в конце концов *сбежал* из кружка «Современника», из этого, как он выразился, собрания «чернокнижников». «Казаки» и два романа, «Война и мир» и «Анна Каренина», были напечатаны в «Русском вестнике» М.Н. Каткова, сначала либерала, а затем реакционного публициста и издателя, о котором Тургенев написал «стихотворение в прозе» под названием «Гад». Но и с Катковым Толстой сошелся не по убеждениям, а из практических соображений. Например, «Казаков» он запродавал Каткову потому, что проиграл тысячу рублей в китайский бильярд.

Мысль жениться на Арсеньевой овладела Толстым настолько серьезно, что их «роман» длился более полугода и отразился в повести «Семейное счастье», где Толстой задним числом смоделировал перспективу семейной жизни с Валерией.

В замечательной книге В.А. Жданова «Любовь в жизни Толстого» (1928), которую высоко ценил такой строгий судья, как Иван Бунин, показано развитие отношений Толстого и Валерии, где Толстой, надо признать, выглядит не лучшим образом. Это человек недобрый, рассудочный и не стесняющийся испытывать предмет своей любви на прочность. Именно – предмет любви, а не свою любовь, что было бы понятно и простительно. Валерия была обычной провинциальной барышней, воспитанной в деревне. Л.Н. был для нее, разумеется, завидным женихом – граф, военный, знаменитый писатель, «Детством» которого зачитывались все барышни...

В конце лета Валерия отправилась к своей тетке в Москву и видела коронацию Александра II. Пышность торжества поразила ее, о чем она и написала в Ясную Поляну тетушке Ергольской, наверное зная, что это письмо прочтет племянник. Реакция Толстого поражает жестоким тоном. Толстой сразу же дает почувствовать карамзинской Лизе, с каким Эрастом она имеет дело.

«Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это продерет против шерсти. Для тетеньки? Поверьте, что самый дурной способ дать почувствовать другому: „вот я какова“, это прийти и сказать ему: „вот я какова!“... Вы должны были быть ужасны, в смородине *de toute beaute* и, поверьте, в миллион раз лучше в дорожном платье.

Любить *haute volee*², а не человека нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой *volee*, а вам даже и невыгодно, потому что вы сами не *haute volee*, а потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны... Насчет флигель-адъютантов – их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть, радости тоже нет. – Как я рад, что измяли вашу смородину на параде, и как глуп этот незнакомый барон, спасший вас! Я бы на его месте с наслаждением превратился бы в толпу и размазал бы вашу смородину по белому платью... Поэтому, хотя мне и очень хотелось приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных

² Высокое положение (*фр.*).

тщеславных радостей, с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга *Гр. Л. Толстой*».

Казалось, «роман» должен был закончиться не начавшись. Но Толстой поставил перед собой задачу: жениться! Он пишет в дневнике: «Шлялся с Дьяковым. Много советовал мне дельного об устройстве флигеля, а, главное, советовал жениться на В. Слушая его, мне кажется, тоже, что это лучшее, что я могу сделать...»

Синдром Подколесина, которого товарищ может убедить жениться, накладывается на желание Толстого строить жизнь по правилам. В течение нескольких месяцев он изучает Валерию, занося в дневник свои впечатления, в которых холодный печоринский ум сочетается с нерешительностью Подколесина.

16 июня. «В. мила».

18 июня. «В. болтала про наряды и коронацию. Фриivolность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть».

21 июня. «Я с ней мало говорил, тем более, она на меня подействовала».

26 июня. «В. в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни...»

28 июня. «В. ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа».

30 июня. «В. славная девочка, но решительно мне не нравится. А ежели этак часто видется, как раз женишься».

2 июля. «Опять в гадком, франтовском капоте... Я сделал ей серьезно больно вчера, но она откровенно высказалась, и после маленькой грусти, которую я испытал, всё прошло... Очень мила».

25 июля. В первый раз застал ее *без платьев*, как говорит Сережа. Она в десять раз лучше, главное, естественна... Кажется, она деятельно-любящая натура. Провел вечер *счастливо*».

30 июля. «В. совсем в неглиже. Не понравилась очень».

31 июля. «В., кажется, просто глупа».

1 августа. «В. была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа».

10 августа. «Мы с В. говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра».

12 августа. «Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет».

16 августа. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке».

24 сентября. «В. мне противна».

Чтобы проверить свои отношения с Валерией, Толстой уезжает в Петербург и в ноябре-декабре 1856 года пишет ей длинные письма, в которых нет страсти, одни наставления, перемежаемые неуверенными объяснениями в любви.

«Вечера, пожалуйста, не теряйте... Не столько для того, что вам полезны будут вечерние занятия, сколько для того, чтобы приучить себя преодолевать дурные наклонности и лень... Ваш главный недостаток – это слабость характера, и от него происходят все другие мелкие недостатки. Выработывайте силу воли. Возьмите на себя и воюйте упорно с своими дурными привычками... Ради Бога, гуляйте и не сидите вечером долго, берегите здоровье».

«Вы говорите, что за письмо от меня готовы пожертвовать *всем*. Избави Бог, чтобы вы так думали, да и говорить не надо. В числе этого *всего* есть *добродетель*, которой нельзя жертвовать не только для такой дряни, как я, – но ни для чего на свете. Подумайте об этом. Без уважения, выше всего, к

добру нельзя прожить хорошо на свете... Работайте над собой, крепитесь, мужайтесь».

Но есть в этих письмах два очень жестоких момента. Первый – Толстой всё-таки признавался ей в любви: «...я просто люблю вас, *влюблен в вас...*» И второй, куда более важный... Он придумывает пару: Храповицкий и Дембицкая. Они «будто бы любят друг друга» и собираются жениться, но при этом являются людьми «с противоположными наклонностями». Он описывает их будущий образ жизни, с подробностями, с цифрами доходов и расходов, с количеством комнат в воображаемом доме и т. д. По сути, он приглашает Валерию поиграть в свой семейный «проект». При этом тщательно разбирает не только ее недостатки, но и недостатки ее прежней пассии – француза-пианиста Мортье де Фонтена, которым она была увлечена в Москве. Он пишет: «Не отчаивайтесь сделаться совершенством». Советует надевать чулки и корсет без помощи прислуги. И многое в этом роде, о чем можно писать только невесте.

В начале 1857 года Толстой уезжает за границу и пишет Арсеньевой прощальное письмо, ставя точку в конце «романа»: «Что я виноват перед собою и перед вами ужасно виноват – это несомненно. Но что же делать?.. Прощайте, милая Валерия Владимировна, Христос с вами; перед вами так же, как и передо мной, своя большая, прекрасная дорога, и дай Бог вам по ней прийти к счастью, которого вы 1000 раз заслуживаете. Ваш *гр. Л. Толстой*».

Через год Валерия вышла замуж за ротмистра Талызина, родила ему четверых детей, но затем развелась и вышла замуж вторично. В 1909 году она скончалась в Базеле, где и была похоронена.

«Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсуфьева, Ребиндер – я во всех был влюблен», – пишет Толстой через год после разрыва с Арсеньевой, но в эту любовь не очень верится. И еще: сестры Львовы, баронесса Менгден, княжна Дондукова-Корсакова, княжна Трубецкая...

Дольше всех после Арсеньевой занимала его мысли Екатерина Федоровна Тютчева, дочь его любимого поэта.

29–31 декабря 1857 года. «Тютчева начинает спокойно нравиться мне».

1 января 1858 года. «К. очень мила».

7 января. «Тютчева, вздор!»

8 января. «Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего».

19 января. «Т. занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести».

20 января. «М. Сухотину с язвительностью говорил про К.Т. И не перестаю думать о ней. Что за дрянь! Всё-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет».

21 января. «К.Т. любит людей только потому, что ей Бог приказал. Вообще она плоха. Но мне это не всё равно, а досадно».

26 января. «Шел с готовой любовью к Тютчевой. Холодна, мелка, аристократична. Вздор!»

1 февраля. «С Тютчевой уже есть невольность привычки».

8 февраля – 10 марта. «Был у Тютчевой. Ни то ни се, она дичится».

28 марта. «Увы, холоден к Т. Всё другое даже вовсе противно».

31 марта. «Тютчева положительно не нравится».

В сентябре 1858 года он предпринимает последнюю душевную попытку жениться на Тютчевой. «Я почти бы готов без любви спокойно жениться на ней; но она старательно холодно приняла меня».

В конце этого же года с Толстым произошел случай, который, разумеется, не имел отношения к его жениховству, но который точно иллюстрирует его попытки обрести семейное счастье против всех принятых в нормальном обществе правил. В декабре он отправился в Вышний Волочек на медвежью охоту. Поставленный в определенном месте, он не стал отаптывать

вокруг себя снег, как это положено, и чуть не поплатился за это жизнью. Выбежавшая на поляну медведица бросилась прямо на Л.Н. Первым выстрелом он промахнулся, вторым – попал ей в пасть, так что пуля застряла в зубах. Медведица сначала перелетела через него, а потом вернулась и стала грызть ему голову, содрав кусок кожи с лица. Подоспевший егерь застрелил ее. Шкура этой не убитой им медведицы потом лежала в его доме в Ясной, а затем в Хамовниках.

Чувство оленя

На пути к семейному счастью, к земному раю, ему, как и следовало ожидать, предстоял целый ряд искушений.

С одним из главных искушений, о котором он пишет в «Исповеди», тщеславием, он справился не то что легко, но сам по себе этот грех до поры до времени не вступал в противоречие с рисуемой его воображению семейной идиллией. Выдающегося военного из него не получилось; первое разочарование в опыте помещичьего хозяйствования было позади, но обещало удачную вторую попытку, вместе с ясногорской хозяйкой. А вот литературный успех был несомненный и, кроме реальных денег, давал гарантию весьма привлекательной деревенской жизни, лишенной неизбежной сезонной скуки. Сочетание сельского хозяйства с литературным трудом, да еще и практически выгодным, – чего же еще желать!

Главным камнем преткновения на пути к «раю» был другой грех – похоть. В этом грехе, как ему казалось, он погряз до такой степени, что это сводило его с ума, сделавшись постоянной темой дневника.

По-видимому, чувство похоти было в нем очень развито, но едва ли превышало чувство всякого молодого, здорового и неженатого мужчины. Крестьянки-солдатки, горничные в европейских гостиницах и, наконец, проститутки были к его услугам, но связь с ними не доставляла ничего, кроме досады и нравственных мук. Служение похоти не только не могло быть для него целью жизни, но и буквально мешало жить. «Девки сбили меня с толку», «девки мешают», «из-за девок... убиваю лучшие годы своей жизни», – рефрен дневника его молодости. По нравственной натуре Толстой был несомненным «монахом», не видевшим в половой страсти ни единого светлого момента. Но главное – от этой страсти некуда было бежать, она настигала везде: в Ясной, Москве, Петербурге, на Кавказе, за границей, и даже есть подозрение, что его почти счастливое состояние в осажденном Севастополе во многом объясняется тем, что ядра и картечь лучше всего разгоняли мысли о девках. Страх смерти был острее «чувства оленя».

«Чувство оленя» – выражение Толстого в дневнике. Это очень сильное определение похоти! Но именно то, что Толстой так точно ее определил, доказывает, что в нем это чувство не занимало всего внутреннего объема, что Л.Н. был способен и видеть, и осуждать в себе «олень». Олень ни во время, ни после гона не способен рассуждать по этому поводу, а рефлексия Толстого о похоти была куда более изнурительной, чем сам «гон».

Его заграничный дневник 1857 года может вызвать впечатление, что Толстой был эротоманом. Сначала он едет в Париж, затем – в Швейцарию. Женева, Кларан, Берн... О красотах и достопримечательностях пишет скупно. Самое сильное впечатление от Парижа – демонстрация смертной казни на гильотине. Но вот на что он постоянно обращает внимание – это «хорошенькие».

«Бойкая госпожа, замер от конфуза». «... кокетничал с англичанкой». «Прелестная, голубоглазая швейцарка». «Служанка тревожит меня». «Красавицы везде с белой грудью». «Еще красавицы...» «Красавица с веснушками. Женщину хочу ужасно. Хорошую». «Красавица на гулянье – толстененькая». «*Девочки. Две девочки из Штанца заигрывали, и у одной чудные глаза. Я дурно подумал и тотчас был наказан застенчивостью. Славная церковь с органом, полная хорошенек. Пропать общительных и полухорошенек... Встреча с молодым красивым немцем у старого дома на перекрестке, где две хорошенек*». «Встретил *маленькую*, но убежал от нее».

Но посмотрим на вещи здраво. Париж, Швейцария, Женевское озеро... И наконец – весна, ведь первый заграничный дневник велся в марте, апреле и мае. Бегство Толстого за границу чем-то напоминает его бегство на Кавказ шестилетней давности и тоже весной. В России остались долги и «роман» с Арсеньевой, за который ему стыдно. Но мечты о женитьбе не

покидают его, и в Дрездене он готов влюбиться в княжну Екатерину Львову («красивая, умная, честная и милая натура»), но чего-то и в ней ему недостает. «Что я за урод такой?» В Женеве он опасно близок к любви даже к своей двоюродной тетке Alexandrine, Александре Андреевне Толстой, фрейлине, которая больше всех женщин отвечала его духовному идеалу. И если бы она не была старше его на десять лет...

Это еще не Лев Толстой, яснополянский старец, каждый жест и слово которого будут притягивать к себе внимание всего мира. Но это уже очень сложный человек, о котором встречавшийся с ним в Париже Тургенев напишет П.В. Анненкову: «...странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича – что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо – высоконравственное и в то же время несимпатичное существо».

«Хорошенькие», «маленькие», «чудные» – это лишь дополнительная краска в том сложном, многокрасочном восприятии мира, которым всегда отличался Толстой. Это еще не «гон». Но сам-то Толстой уже видит в этом заманки дьявола и оттого так дотошно фиксирует это в дневнике. Уже в старости, перечитывая дневник и думая, как издавать его после его смерти, он сначала предложит выбросить эти места, но потом всё-таки посоветует их сохранить, как свидетельство, что даже такого грешного и ничтожного человека, как он, не оставил Бог.

А Бог напомнил о своем существовании очень скоро. В июле 1857 года он проигрался в Бадене в рулетку «в пух и до копейки», так что вынужден писать Тургеневу и просить выслать немедленно пятьсот франков. А вскоре пришло известие из России, что сестра Маша бежала с детьми от мужа, узнав о его развратной жизни. «Эта новость задушила меня», – пишет Толстой в дневнике.

В этом же дневнике конца июля – начала августа он подозрительно жалуется на «нездоровье». Это было то самое «нездоровье», с которым он начал вести дневник в Казани весной 1847 года. Это была венерическая болезнь.

Срочно приехавший в Баден-Баден Тургенев нашел его в ужасном состоянии. Больной, проигравший все деньги, оскорбленный за сестру. К тому же ее муж Валериан был фактическим управляющим Ясной Поляны в отсутствие Толстого, потому что брат Сергей от этого отказался. Смятый, раздавленный Толстой уезжает в Россию.

И здесь дьявол окончательно настигает его.

Дьявол

Повесть с одноименным названием Толстой написал в ноябре 1889 года, залпом, за десять дней. Однако не только не пытался ее напечатать, но прятал в обшивке кресла от жены. Это самое интимное произведение Л.Н. о самом себе. Даже более интимное, чем «Детство».

Этот «скелет в шкафу» (вернее, в кресле) находился в неподвижности в течение 20 лет, пока не был обнаружен женой.

«Софья Андреевна сегодня охвачена злом, – пишет Маковицкий 13 мая 1909 года, – гневно, злобно упрекала Л.Н. за повесть... которую он и не помнил, что и когда написал».

Не помнил? 19 февраля того же года Толстой пишет в дневнике: «Просмотрел „Дьявола“. Тяжело, неприятно».

Повесть «Дьявол» касалась одной из самых интимных и болезненных страниц их семейной жизни. Речь шла о связи Толстого с замужней крестьянкой Ясной Поляны Аксиной Базыкиной, самой продолжительной и мучительной связи с женщиной до женитьбы. Результатом ее стал внебрачный сын, о чем С.А. знала.

26 апреля 1909 года зять Толстого Сухотин пишет в дневнике:

«Ездил со Л.Н. к Чертковым. По дороге заехали к одной бабе, у которой умер ночью неизвестный странник. Покойный лежал на полу, на соломе, лицо было прикрыто какой-то тряпкой. Л.Н. приказал открыть лицо и долго вглядывался в него. Лицо было благообразное, спокойное. Тут же сидели несколько мужиков. Л.Н. обратился к одному из них:

– Ты кто такой?

– Староста, ваше сиятельство.

– Как же тебя зовут?

– Тимофей Аниканов³.

– Ах, да, да, – произнес Л.Н. и вышел в сени. За ним последовала хозяйка.

– Какой же это Аниканов? – спросил Л.Н.

– Да Тимофей, сын Аксины, ваше сиятельство.

– Ах, да, да, – задумчиво произнес Л.Н.

Мы сели в пролетку.

– Да ведь у вас был другой староста, Шукаев, – произнес Л.Н., обращаясь к кучеру Ивану.

– Отставили, ваше сиятельство.

– За что же отставили?

– Очень слабо стал себя вести, ваше сиятельство. Пил уж очень.

– А этот не пьет?

– Тоже пьет, ваше сиятельство.

Я всё время наблюдал за Л.Н. и никакого смущения в нем не заметил. Дело в том, что этот Тимофей – незаконный сын Л.Н., поразительно на него похожий, только более рослый и красивый. Тимофей – прекрасный кучер, живший по очереди у своих трех законных братьев, но нигде не уживавшийся из-за пристрастия к водке. Забыл ли Л.Н. свою страстную любовь к бабе Аксины, о которой он так откровенно упоминает в своих старых дневниках, или же он счел нужным показать свое полное равнодушие к своему прошлому, решить не берусь».

Тимофей Базыкин родился в 1860 году, за два года до свадьбы Л.Н. и С.А. Когда молодые поселились в Ясной, он был младенцем. Именно об этом младенце пишет С.А. в дневнике, пересказывая свой сон через четыре месяца после свадьбы:

³ «Аниканкин». Так звали в Ясной Поляне сына Толстого и Аксины Базыкиной Тимофея Базыкина. «Очень умный мужик, говорил складно, с прибаутками, был похож на сыновей Толстого. В деревне жил мало, служил кучером у сыновей Толстого...» – вспоминали крестьяне.

«Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходят откуда-то одна за другой, последней вышла Аксинья, в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребеночка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову – всё оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, – это кукла».

Это был всего лишь «неприятный» сон. Но какой выразительный! С.А. была очень ревнива. Но здесь не только ревность. Запись в дневнике сделана в январе 1863 года, когда она была уже беременна. Уже придумано и имя для их первенца: если будет мальчик, то Сергей, если девочка – Татьяна. Нужно ли говорить, что сама мысль, что это будет первенец ее, но отнюдь не его, не могла не терзать сердце молодой жены и будущей матери?

Слухи, что в Ясной Поляне живет внебрачный сын графа, ходили среди крестьян и доносились до С.А. Когда выросли их с Л.Н. собственные дети и стали по примеру отца участвовать в полевых работах, они тоже слышали это.

Яснополянский «рай» с самого начала был осквернен. Дьявол оставил в нем следы, стереть которые было нельзя.

С крестьянкой Аксиньей Толстой вступил в связь через год после возвращения из-за границы. Это случилось на Троицу, в мае 1858 года. «Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых руках; захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак. Скотина. Красный загар шеи... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. *Завтра все силы*».

Лето 1858 года стало одним из самых тяжелых в жизни Толстого. «Я страшно постарел, устал жить в это лето», – пишет он в дневнике. Его связь с Аксиньей продолжалась два года и разрушала его морально гораздо сильнее всех прежних связей. Эта связь стала «исключительной» и привела к тому, что в замужней крестьянке он впервые почувствовал то, чего не находил в провинциальных и столичных барышнях, – не просто женщину, но *жену*. И не чужую жену, а *свою*.

Если через год после начала связи он «вспоминает» об Аксинье «с отвращением, о плечах», то в октябре встречается с ней уже «исключительно». Еще через полгода понимает, что запутался окончательно. «Ее нигде нет – искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу».

Это было серьезным открытием для Толстого и первым страшным ударом по его семейному «проекту».

Но что такого произошло? Молодой барин согрешил с крестьянкой, муж которой находился в городе, зарабатывая на семью и барину же на оброк. Дело, разумеется, нехорошее, но обыкновенное.

Это была не первая его любовь к простолюдинке. Скорее всего, знаменитая казачка Марьяна из повести «Казачи» имела реального прототипа по имени Соломонида. О ней он пишет в своем кавказском дневнике: «Пьяный Епишка (в повести – дядя Ерошка. – П.Б.) вчера сказал, что с Соломонидой дело на лад идет. Хотелось бы мне ее взять».

Вернувшись из Севастополя и живя то в Ясной, то в Москве, он отмечает в себе «уже не темперамент», а «привычку разврата». «Похоть ужасная, доходящая до физической боли». «Шлялся в саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать. Поэтому решился, где бы то и как бы то ни было, завести на эти два месяца любовницу». «Очень хорошенькая крестьянка, весьма приятной красоты. Я невыносимо гадок этим бессильным поползновением к пороку. Лучше бы был самый порок».

Ну, вот он и получил и «самый порок», и постоянную любовницу, и не на два месяца, а на два года.

Почему вожделение к казачке Соломониде породило поэтичнейших «Казаков», а связь с ясногорской крестьянкой – страшного, безысходного «Дьявола»?

Причиной был семейный «проект» Толстого. В письме к Ергольской и в «Утре помещика» он выработал целую программу своей будущей семейной жизни и в конце 50-х годов уже сознательно искал кандидатуру на место хозяйки яснополянского рая. И если бы он только всё продумал как нормальный, расчетливый человек... Но он был гениальным художником. Он нарисовал этот рай в своем воображении до такой степени прозрачной ясности и в то же время конкретности, что, по сути, уже жил в нем. На связь с Аксиньей он поначалу смотрел как на временное состояние.

И вдруг оказалось, что она и есть жена. Похоть и ее удовлетворение – не временное явление, не «прилив» и «отлив», не вопрос физиологии, но основа и самое «сердце» семейной жизни.

В «Дьяволе» помещик Евгений Иртенев (почти однофамилец Николеньки Иртеньева из «Детства») – это, несомненно, сам Толстой, с некоторыми оговорками. Толстой даже не утруждает себя скрывать это. Евгений закончил юридический факультет. Толстой пытался получить диплом юриста в Петербурге экстерном. Евгений получил наследство после раздела с братьями, точно так же было в жизни Толстого. Евгений начинал служить в министерстве (скорее всего, внутренних дел), и там же хотел одно время служить молодой Толстой. Евгений поселяется в деревне, мечтая «воскресить ту форму жизни, которая была не при отце – отец был дурной хозяин, но при деде». Отец Толстого не был дурным хозяином, но в том, что отец делал в Ясной, он продолжал линию тестя, князя Волконского, которую, как следует из письма к Ергольской, хотел продолжить сын и внук Лев. Евгений очень силен физически, «среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами». Толстой был заядлым гимнастом. С юности до старости поднимал гири, крутился на турнике.

Но это мелочи в сравнении с главным. Главное, что мучает Евгения и мешает заниматься хозяйством, – это похоть. «Он не был развратником, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил...»

Кому же он это говорил? Это сам Л.Н. писал в дневнике: «Ничто мне так не мешает работать» (как похоть).

Евгений, как и молодой Толстой, – человек программы, «проекта». Он поставил себе цель превратить имение в образцовое хозяйство и жениться на добродетельной девушке. Не по денежному расчету, но и не по случайному чувству, а сообразно внутренним убеждениям и представлениям о семейном рае.

Но беда! «Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда?»

И тогда в жизни Евгения появляется Степанида. Само ее имя является соединением Соломониды и Аксиньи, средним арифметическим из двух имен. Оно простонародное, но не распространенное. И в нем есть отчетливый «мужской» элемент.

В конце повести, когда Евгений прозревает, он говорит о Степаниде: «Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною». В другом варианте это звучит так: «Господи! Да нет никакого Бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол». В первом варианте повести Евгений застрелился. Во втором – убил Степаниду. В обоих случаях его сочли временно умалишенным. В обоих вариантах последние фразы почти идентичны. «И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то

все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные – это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят».

Таким образом, в истории Евгения, как и в истории с Аксиньей, Толстой видел универсальную ситуацию. Это судьба всех мужчин. И те из них, кто этого не понимают, куда больше являются душевнобольными, чем Иртенев.

Повесть «Дьявол» писалась позже, чем «Крейцера соната» (1888), но зато одновременно с «Послесловием к „Крейцеровой сонате“», где Толстой вынес нравственный приговор не только половой любви, но и браку: «Христианского брака быть не может и никогда не было...»

«Крейцера соната» написана раньше, но по сюжету является продолжением «Дьявола». После того, как Евгений убил Степаниду, его признали душевнобольным и приговорили к церковному покаянию. Из следственной тюрьмы и монастыря он вернулся безнадежным алкоголиком. Убивший жену герой «Крейцеровой сонаты» Позднышев тоже выходит на свободу благодаря суду присяжных. Во время разговора с попутчиком Позднышев постоянно пьет крепчайший чай, который «как пиво». Это человек с разрушенной психикой, но убежденный в том, что он душевно гораздо здоровее окружающих. Позднышев познал (но слишком *поздно*), что нет принципиальной разницы между соитием с женой и любой другой женщиной. Брак – это сокрытое преступление.

Отношение позднего Толстого к браку было не то чтобы полностью отрицательным. Но, по его убеждению, первая женщина, с которой мужчина «пал», и должна стать его женой. Эту мысль он высказывал неоднократно, не стесняясь присутствия С.А. Этой мысли он не изменил до конца дней.

Вот в чем было открытие Толстого-Иртенева-Позднышева. И если бы Толстой в конце 50-х годов довел эту мысль до конца, не было бы пятидесятилетнего брака с Софьей Андреевной, как не было бы «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Но пока, возможно, испугавшись этой мысли, он лихорадочно напишет в дневнике 1 января 1859 года: «Надо жениться в нынешнем году – или никогда».

Берсы

В конце мая 1860 года Толстой признается в дневнике: «Ее (Аксиньи. – П.Б.) не видал. Но вчера... мне даже страшно становится, как она мне близка». В это же время он испытывает новое разочарование в сельском хозяйстве: «Хозяйство в том размере, в каком оно ведется у меня, давит меня» (письмо к Фету).

В июле с сестрой Марией Толстой уезжает за границу, в Соден. По дороге, в Москве, делает в дневнике короткую запись: «Москва. Берсы». В Содене умирает от чахотки их брат Николенька. Он скончался во Франции, в Гиере, 20 сентября. Это событие произвело страшное впечатление на Толстого.

«Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н.Н. Толстой... ничего не осталось», – пишет он Фету.

Безвозвратность смерти и невозможность ее разумно объяснить ошеломляет его настолько, что он решает отказаться от литературного творчества. Зачем оно? Ведь «завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью подлости, лжи, самообманыванья, и кончатся ничтожеством, нулем для себя». Единственное, что остается, это «глупое желание знать и говорить правду», «только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь».

Одновременно он убеждает себя, что сам болен чахоткой. Мечется по Европе, словно стараясь убежать от болезни. Гиер – Париж – Ницца – Флоренция – Ливорно – Неаполь – Рим – Лондон – Брюссель – Франкфурт-на-Майне – Эйзенах – Веймар – Дрезден – Берлин – вот карта бегства Толстого, во время которого он, тем не менее, не теряет времени даром, изучая европейскую практику преподавания в школах. В мае он возвращается в Ясную Поляну и отдается новой страсти – педагогике, которую называл своей «последней любовью».

Что же представляет из себя Толстой накануне женитьбы на Софье Берс в сентябре 1862 года?

- 1) Он считает себя больным, будучи в целом физически крепким и здоровым.
- 2) Он панически боится смерти.
- 3) Он боится физической связи с женщинами, но при этом одержим повышенной чувственностью.
- 4) Он является вторым после Тургенева признанным лидером русской литературы, но готов бросить писательство ради нового увлечения – педагогики.
- 5) Прекрасный помещик из него не получился.
- 6) Он человек страстный, но не спонтанный, человек «проекта».
- 7) Он несомненный эгоцентрик, взгляд которого постоянно обращен внутрь своей души, но при этом он обладает повышенной восприимчивостью внешнего мира, жадным взглядом на людей.
- 8) Он верит в Бога, не будучи христианином.
- 9) Он очень хочет жениться.

Вот какой невообразимый «букет» должен был достаться его избраннице. Неудивительно, что он не спешил отдать его в первые слабые руки. Наконец, его взгляд остановился на семье Берсов...

Всё здесь было прекрасно и в то же время практично. Мать будущей жены Толстого являлась его детской подругой, в которую он был почти влюблен ребенком и, по слухам, правда, опровергаемым будущей тещей, как-то в порыве ревности даже столкнул Любочку с балкона яснополянского дома.

Отец Любви Александровны Берс, в девичестве Иславиной, Александр Михайлович Исленьев, был соседом Николая Ильича Толстого. Это был настоящий русский барин, в большей степени послуживший прототипом папá в «Детстве», чем отец Толстого.

Имение Исленьевых Красное находилось в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны. Николай Ильич и Александр Михайлович постоянно вместе охотились и гостили друг у друга семьями целыми неделями, привозя своих поваров, лакеев, горничных. Весь этот люд ютился в комнатах и коридорах и спал прямо на полу на войлоках и рогожах.

Любовь Александровна была незаконной дочерью от третьего, незарегистрированного брака Исленьева с княгиней Козловской, бежавшей от первого мужа и тайно обвенчавшейся с Исленьевым в селе Красном. История наделала много шума в свете, потому что княгиня Козловская в девушках была фрейлиной при дворе. По жалобе князя Козловского брак был признан незаконным, и дети Исленьева от третьей жены вынуждены были носить «исправленную» фамилию Иславины.

В истории рода жены Толстого со стороны матери было много поэтического, по-настоящему русского, старинного, что не могло не согревать душу автора повести «Детство», в которой семья Берсов-Иславиных безошибочно узнавала своих родственников и обожала эту повесть до какого-то почти религиозного восторга. Сонечка Берс выучила ее наизусть целыми кусками.

Таким образом Толстой роднился с семьей, в которой уже существовал его культ как писателя. С другой стороны, с матерью своей будущей жены он был на «ты» и называл ее «Любочкой», а она его «Левочкой». Это заранее снимало возможность натянутых отношений между зятем и тещей. Для главного после него человека яснополянского дома, тетеньки Ергольской, Любовь Александровна Берс тоже была своим человеком, она знала ее с раннего детства. Это вселяло уверенность, что и дочь поладит с Татьяной Александровной.

В семье Берсов было приятно находиться. Толстой был угловат в общении и считал себя некрасивым, «ужасным» (большой нос, большие уши, кустистые брови, небольшие, голубоватые, глубоко посаженные глаза).

Но у Берсов всё было просто.

На правах друга детства хозяйки дома Толстой приходил к ним обедать, когда бывал в Москве, приезжал и приходил пешком на их дачу в Покровское, оставался там ночевать, а наутро добрейший муж Любочки Андрей Евстафьевич Берс отвозил его в Москву в своей коляске по пути в Кремль.

Андрей Евстафьевич работал кремлевским врачом. Он тоже был древних кровей, но германских. По матери он принадлежал к многочисленной в России семье вестфальских дворян. Отец его был богатым московским аптекарем, разорившимся во время пожара Москвы 1812 года, но затем вернувшим относительное благосостояние. Два его сына, Александр и Андрей, закончили лучший в Москве немецкий частный пансион Шлецера, а затем медицинский факультет Московского университета. По окончании курса Андрей Евстафьевич Берс в качестве домашнего врача поехал в Париж с семьей Сергея Николаевича и Варвары Петровны Тургеневых, с их сыном Ванечкой, будущим классиком русской литературы. Вернувшись из Парижа, он поступил на службу в Сенат. В здании Кремлевского дворца ему отвели казенную квартиру. В царствование императора Николая Павловича он получил звание гоф-медика. Затем хлопотал о восстановлении дворянского достоинства и герба (все документы сгорели в 1812 году), что и было возвращено обоим братьям, но уже без медведя на гербе («берс» в немецком склонении означает «медведь»).

Андрей Евстафьевич в молодости был сердцеедом. Варвара Петровна Тургенева даже родила от него незаконную дочь, которая таким образом была сводной сестрой Тургенева и жены Толстого. Варвара Житова оставила после себя интереснейшие воспоминания. По слу-

хам, вождь русского анархизма, князь Петр Алексеевич Кропоткин, на самом деле тоже был сыном домашнего врача Кропоткиных – Берса.

Андрей Евстафьевич был человеком практическим и сентиментальным. Эта глубокая немецкая черта передалась его средней дочери Сонечке, в которой практицизм уживался с повышенной чувствительностью, нередко переходящей в истеричность. Это был человек упрямый, порой тяжелый для домашних, но беспрдельно любящий, заботливый отец своих «папных дочек» и, как потом оказалось, превосходный тесть, чьи письма в Ясную к С.А. и Л.Н. после их свадьбы невозможно читать без доброй улыбки.

24 сентября 1862 года: «Как-то вы доехали, мои милые и дорогие друзья? Воображаю себе, какая встреча вам была. Прошу засвидетельствовать мое почтение Татьяне Александровне и дружески кланяться Сергею Николаевичу (старший брат Толстого. – П.В.). Тебя, милая Соня, обнимаю, а ты расцелуй от меня своего мужа. Мать целует вас и благословляет. Весь день говорили об вас. Прощайте, ваш искренно любящий батька».

27 сентября: «Целуешь ли ты крепко своего доброго и милого мужа? – расцелуй и за меня да потрепи его хорошенько за бороду».

Сразу после отъезда молодых в Ясную он настойчиво, но ненавязчиво зовет их в Москву, обещая предоставить в их распоряжение кремлевскую квартиру или подыскать им недорогие, но удобные апартаменты рядом с Кремлем. Он готов ходить в Охотные ряды закупать для них провизию, что ему совершенно нетрудно, ведь он и так это делает для своей семьи. Первым, как врач, догадавшись по описаниям недомогания Сони, что она беременна, он успокаивает не ее, а Л.Н. Сонечке же настоятельно советует не кататься на саночках, не есть тяжелой пищи, которая давит на матку, а от тошноты использовать безотказное французское лекарство под названием «tranche de citrone», что означает по-русски просто «ломтик лимона». Но – Боже упаси! – не глотать его с коркой.

Увозя их среднюю дочь из Кремля в Ясную Поляну почти сразу после венчания, Толстой оставлял Берсам тяжелое наследство в виде их старшей дочери Лизы, которая до последнего считалась невестой Л.Н. и убедила себя, что влюблена в него.

В семье Берсов было три сестры: Лиза, Соня и Таня. И разумеется, все трое были в него влюблены! Это он думал, что он такой некрасивый, «ужасный», со своим носом, ушами и бровями. Но для девочек из скромной семьи гоф-медика, сына аптекаря, за которого даже незаконнорожденную Любочку Иславину отдавали скрепя сердце («Ты, Александр, будешь скоро своих дочерей за музыкантов отдавать», – по-старинному выговаривая слово «музыканты», сердито говорила ее отцу бабушка Дарья Михайловна Исленьева, помня о своем родстве с самими Шереметевыми), для этих «милых девочек», как вскользь выразился о них в дневнике Толстой, он был самым интересным мужчиной, какого они только могли себе представить.

Он тогда еще не носил знаменитых «толстовок», которые потом будет шить С.А. вместе с просторными панталонами. Он обшивался у лучших и самых дорогих портных Москвы и Петербурга. Знаменитый писатель, боевой офицер, которого готова была обласкать императорская семья, если бы не его характер. Культ императорской фамилии в семье дворцового лекаря был безусловный. С.А. не избавилась от него даже будучи женой Толстого, когда он стал злейшим врагом самодержавия. Но, конечно, не в отблеске высшего света, лежавшем на поручике Толстом, заключался его шарм для «милых девочек». Но в чем же? Может быть, в том, что он прилично пел и музицировал? В том, что, равный по возрасту с их матерью, он «танцевал» с ее дочерьми как с большими? В том, что самая младшая из них, Танечка, просто использовала его как верховую лошадь, с победоносным криком разъезжая на его спине по комнате?

«То-то пойдет у нас верховая езда по зале, – писал Андрей Евстафьевич Берс Толстым в Ясную, уговаривая приехать в Москву. – Танька того и ждет только, чтобы взобраться на спину твоего мужа».

Разумеется, Толстой стал кумиром всех трех сестер, этих непохожих друг на друга девичьих сердечек, объединенных восторгом перед великолепным Л.Н., каждое посещение которого в Кремле или в Покровском перед отъездом в действующую армию или за границу было событием невероятного счастья, о котором потом вспоминали всё время до его нового прихода.

И сам Толстой это понимал и чувствовал и дышал этим воздухом всеобщей в него влюбленности, воздухом, без которого задыхается любая артистическая натура.

Ну разве не приятно получить в день рождения такое «пригласительное письмо»:

«Во главе всех пишуших приношу вам, любезный Граф Лев Николаевич, мое душевное поздравление со днем вашего рождения и прошу вас приехать к нам сегодня обедать и ночевать. В среду утром я обязуюсь доставить вас в Москву, если вам угодно будет со мной ехать. Надеюсь, что добрый Лев Николаевич не откажется всех нас утешить, – подавно в такой день, который многих утешил появлением и теперешним вашим пребыванием на белом свете. – И так надеюсь, что до свидания. Ваш искренно любящий Берс».

Впрочем, на обороте листа была приписка другим почерком, которая едва ли могла понравиться перспективному жениху:

«В старину, Левочка и Любочка танцевали в этот день, теперь же на старости лет, не худо нам вместе попокойнее отобедать, в Покровском, в кругу моей семьи вспомнить молодость и детство. Л. Берс».

Напоминание о его возрасте от будущей тещи не могло понравиться Л.Н. Тем более в августе 1862 года, когда *участь его была решена*. И решена в пользу не старшей, Лизы, а средней – Софии.

В семью Берсов Толстой вошел на законных правах старинного знакомого, но в девичьей ее части произвел разрушения как беззаконная комета.

В истории сватовства Толстого, на первый взгляд такой запутанной, даже какой-то «ведьмильной», можно выделить несколько этапов. В мае 1856 года по дороге из Севастополя в Ясную он останавливается в Москве, навещает в Покровском свою детскую подругу Любовь Александровну Берс и впервые обращает внимание на то, что у нее подрастают три прелестные дочки. По причине временного отсутствия прислуги девочкам (Лизе – двенадцать лет, Сонечке – одиннадцать, Танечке – девять) доверили сервировать стол для дорогих гостей (Толстого и их дяди Константина Александровича Иславина) и ухаживать за ними. Как же они были счастливы!

Больше других хлопотала средняя сестра. По негласному семейному раскладу средней из сестер доставалось больше всего забот. Старшая – умная, начитанная, «правильная», но, как водится, не самая любимая. Младшая – кокетка, «чудо в перьях», избалованная и всеми обожаемая. Средняя должна соединять в себе живость младшей с основательностью старшей, не рассчитывая при этом ни на особое уважение, ни на обожание. Больше всего дел, естественно, падает на ее плечи, потому что старшая вечно сидит со своими книжками, а младшая вечно стоит на голове.

Семья Берсов была во всех отношениях классической семьей. Баловал дочек, разумеется, папá, а воспитывала из них настоящих женщин и будущих жен, конечно, мамá. Танечку баловали больше всех, а Лизу и Соню с раннего детства приучали к хозяйству. «Кроме уроков, – вспоминала С.А., – мы, две сестры, должны были сами шить и чинить белье, вышивать... Хозяйство тоже было отчасти в наших с сестрой Лизой руках. Уже с 11-ти летнего возраста мы должны были рано встать и варить отцу кофе. Потом мы выдавали кухарке из кладовой провизию, после чего к 9-ти часам готовили всё к классу... Отец вообще баловал нас и любил доставлять нам не только нужное, но даже роскошное. У матери были свои, довольно своеобразные взгляды. Она боялась доставлять нам роскошь, приучать к ней, заставляла нас шить на

себя белье, вышивать, чинить, хозяйничать, убирать всё... А между тем она не могла представить, чтобы мы, девочки, гуляли без ливрейного лакея или ездили бы на извозчике».

«Обедали у Любочки Берс, – записывает Толстой 26 мая в дневнике. – Дети нам прислуживали. Что за милые, веселые девочки».

Десятью днями раньше в дневнике есть запись: «Никогда не упускай случаев наслаждения и никогда не ищи их. – Даю себе правило на веки никогда не входить ни в один кабак и ни в один бардель...» Однако в феврале того же года, находясь в Петербурге и решая служебные и литературные дела, он пишет: «Поссорился с Тургеневым, и у меня девка».

Надо почувствовать, какая огромная психологическая дистанция была между опытным мужчиной и «милыми, веселыми девочками», которые прислуживали ему за столом. Через шесть лет одна из этих девочек станет его женой. Чтобы представить себе ее внутренний облик, обратимся к одному эпизоду из ее мемуаров:

«Когда мне было 15 лет, приехала к нам гостить двоюродная сестра Люба Берс, у которой только что вышла замуж сестра Наташа. Эта Люба под большим секретом сообщила мне и сестре Лизе все тайны брачных отношений. Это открытие мне, все идеализирующей девочке, было просто ужасно. Со мной сделалась истерика, и я бросилась на постель и начала так рыдать, что прибежала мать, и на вопросы, что со мной, я только одно могла ответить: „Мама, сделайте так, чтоб я забыла...“»

«...и вот я решила тогда, – продолжает С.А., – что если я когда-нибудь выйду замуж, то не иначе как за человека, который будет так же чист, как я...»

В изложении этого сюжета есть одна сомнительная нота. Свои мемуары она начала писать в 1904 году, когда уже знала о муже решительно всё, в том числе и его дневник 1856 года, где «милые девочки» простодушно соседствовали с «девками». К тому времени уже было написано «Воскресение», где главной героиней, воспетой ее мужем, была, как бы то ни было, проститутка. Этот роман не нравился С.А. не из-за его художественных недостатков, но именно по этой причине. «...мне неприятно читать подробности жизни проституток, этих тварей, которых посещали наши мужья, сыновья, отцы и вообще мужчины. А мы, чистые, невинные девушки оказывались наследницами этих падших тварей; и описание их Л.Н. болезненно напоминало мне и его неоднократные посещения домов терпимости, о чем он мне сам говорил и о чем писал в своих молодых дневниках. А я в то время (когда писалось „Воскресение“. – П.Б.) как раз усердно переписывала дневники Л.Н., чтоб один экземпляр хранить в музее, другой в Ясной Поляне. Это было для моей души большим терзанием».

Но тогда, в Покровском, весной 1856 года, перед восторженной Сонечкой сидел не автор «молодых дневников» и «Воскресенья», но автор «Детства». И еще это был автор патристических «статей» в «Современнике» о защитниках Севастополя, которые так понравились Государю.

Это было начало первого этапа. Через два года, в сентябре 1858 года он приезжает к Любови Берс на именины и затем в дневнике почти буквально дублирует свою дневниковую запись 56-го года: «Милые девочки!» Но опять – всё еще очень неопределенно. Просто «милые девочки», три сестры. Но уже появился восклицательный знак, кстати, не частый в дневниках Толстого. Соне в то время четырнадцать лет, по тем временам она вполне девушка, но Толстой еще не видит ее в отдельности от «милрой» троицы. Между тем он уже влюблен. Но не в Соню, а в Берсов.

Пробежим взглядом дневник 1858 года, чтобы представить себе самочувствие этого человека.

«Тютчева... холодна, мелка, аристократична. *Вздор!*» «Александрин Толстая постарела и перестала быть для меня женщина». «Был у Тютчевой,

ни то ни се...» «Чудный день. Бабы в саду и на копани. Я угорелый...» «Надежда Николаевна была одна. Она сердита на меня, а улыбка милая. Ежели бы не павлиньи руки». «Живем с тетенькой по-старому славно». «Видел мельком Аксинью. Очень хороша... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли». «Имел Аксинью...; но она мне постыла». «Тургенев скверно поступает с Машенькой». «Видел Валерию – даже не жалко своего чувства».

В этих записях можно проследить три важных момента. Настоящая любовь, даже нежность вспыхивают в Толстом только по отношению к близким людям – к тетеньке Ергольской, к сестре Маше, которая в это время влюблена в Тургенева и безнадежно надеется на развитие романа с ним. Но эта нежность быстро переходит в злость по отношению к тем, кто обижает его родных. «Дрянъ», – пишет о Тургеневе, единственной виной которого была его вечная нерешительность во всех решительно «романах» с женщинами. Еще один вектор – яркое, сильное, но животное чувство к крестьянкам вообще и Аксинье Базыкиной в частности. И третий – холодное, лишенное жизни отношение к потенциальным невестам – Екатерине Тютчевой и Валерии Арсеньевой.

Но любил ли Толстой вообще женщин? Очень сложный вопрос.

С одной стороны, известна «женофобия» позднего Толстого, над которой посмеивались в его семье и которая очень сердила С.А. Известны резкие высказывания Л.Н. об эмансипации, о повальной моде среди девиц идти в учительницы и акушерки. Почти крылатой стала его фраза, что правду о женщинах он скажет только на краю могилы: прыгнет в гроб, скажет правду и захлопнет крышку. С другой стороны, Толстой сентиментально любил своих дочерей, Таню, Машу и Сашу, что, кроме счастья общения с отцом, создавало им жизненные проблемы: обожая дочерей, он ревновал дочек к их женихам.

Просто словом «женофобия» его отношение к женщинам не определишь. Да и странно было бы говорить о «женофобии» творца Наташи Ростовской, Марьи Болконской, Кити Левиной, Катюши Масловой...

И всё-таки отношение Толстого к женщинам любовью тоже не назовешь. С молодости и до конца дней это было смешанное чувство страха, жгучего интереса и тяжелых мыслей о дьявольской природе половой любви.

«Женофобия» Толстого не могла не породить в XX веке миф о его подспудном гомосексуализме. К несчастью, он сам предоставил карты любителям раскрашивать классиков в голубой цвет. Речь идет о его записи в дневнике, которую мы приведем полностью, потому что это всё-таки признание самого Толстого.

«Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет – время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенной силою. В мужчин я очень часто влюблялся, 1 любовью были два Пушкина, потом 2-й – Сабуров, потом 3-ей – Зыбин и Дьяков, 4 – Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие... Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности *недрастии*⁴; но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Станный пример ничем необъяснимой симпатии – это Готье. Не имея с ним решительно никаких отношений, кроме по покупке книг. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. Любовь

⁴ Так в подлиннике.

моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви – совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство. Ежели и испытываю, то не так страстно, и к тем людям, которые меня любят, т. е. наоборот того, что было прежде. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение».

Это признание относится к 1851 году. Поразительно, с какой беспощадностью двадцатидвухлетний Толстой анализирует свои переживания.

В том же 1858 году, когда он пишет о сестрах Берс: «Милые девочки!» с восклицательным знаком, – он записывает в дневник странный сон, в котором фигурирует еще живой брат Николай Толстой: «...видел во сне, что Николенька в женском голубом платье с цветком едет на бал». Толстой серьезно относился к снам, постоянно фиксировал их в своих дневниках, посвящал им отдельные места в сочинениях и даже отдельные сочинения («Сон молодого царя», «Что я видел во сне...» и др.).

Этот «голубой» сон 1858 года просто напрашивается быть осмысленным в эстетике Серебряного века, как и другой – начала 1859 года: «Видел один сон – клубника, аллея, она, сразу узнанная, хотя никогда не виданная, и Чапыж в свежих дубовых листьях, без единой сухой ветки и листика...»

Да это же Незнакомка, «узнанная» за полвека до появления ее в поэзии Блока! Это заставляет по-новому взглянуть на облик Толстого-жениха.

Когда посещение Толстым семьи Берсов стало слишком частым и приобрело явно жениховский характер, старшая сестра решила, что она и есть избранница Л.Н. А как иначе? Ведь к тому времени, как он начал различать трех «милых девочек» как отдельных личностей, Елизавета Берс была единственной сестрой на выданье. Да и порядок требовал, чтобы первой замуж вышла старшая сестра.

Однако недаром бабушка сестер Берс, родная тетка их отца Мария Ивановна Вульфферт говорила о Сонечке, которую она любила больше всех: «*Sophie a la tête abonnée*». Это игра слов. «У Сони – голова в чепце» или «У Сони – голова абонирована». Это означало, что Сонечка первой выйдет замуж.

Старшей сестре Лизе чего-то не доставало. Она была девушка милая, серьезная, но необщительная. Ее постоянно видели с книгой в руках.

– Лиза, иди играть с нами, – звали ее младшие сестры и брат Саша, пытаясь отвлечь от чтения.

– Погоди, мне хочется дочитать до конца.

«Но конец этот длился долго, – вспоминала Т.А. Кузминская, – и мы начинали игру без нее. Она не интересовалась нашей детской жизнью, у нее был свой мир, свое созерцание всего,

не похожее на наше детское. Книги были ее друзья, она, казалось, перечитала всё, что только было доступно ее возрасту».

Казалось, эта серьезность должна была привлечь Толстого. Ведь что его больше всего раздражало в Арсеньевой? Кокетство, любовь к нарядам, балам и умственная пустота. Лиза была полной противоположностью ей. И Толстой поначалу это оценил и даже привлек девушку к сотрудничеству в своем педагогическом журнале «Ясная Поляна». Всё, казалось, говорило за то, что в лице старшей сестры он имеет готовую жену и сотрудницу для писательской жизни. В это время начинается второй этап его вхождения в семью Берсов, происходит как бы разграничение полномочий трех сестер. С Лизой он сотрудничает, с Соней музицирует, нещадно критикуя за неверные звуки, с Танечкой поет и дурачится.

И в это же время Толстой заявляет сестре Марии, которая была очень дружна с Любовью Берс:

– Машенька, семья Берс мне симпатична, если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье.

Он еще не знает, на ком женится, но уже знает – *где*. Эти слова, которые подслушала гувернантка детей Марии Николаевны и передала своей родной сестре, гувернантке детей Берсов, в семье Берсов расценили по-своему. Единственной невестой в доме была Лиза. Соня была еще просто «здоровая, румяная девочка с темно-кариими глазами и темной косой», как вспоминала о ней сестра Татьяна. Что касается Танечки, она была совсем ребенком.

Судя по дневникам, Толстой пристально всматривался во всех трех сестер, с интересом и каким-то даже изумлением наблюдая процесс их взросления, который в этом возрасте происходит стремительно: вчера еще ребенок в коротком платьице, а сегодня уже невеста. Эти наблюдения не прекратились и после женитьбы на Соне в отношении Танечки, которая послужила главным прототипом Наташи Ростовской. Именно образ Наташи Ростовской наиболее ярко отражает всю сложность отношения Толстого к сестрам Берс. «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа», – шутил Л.Н.

И еще он шутил в присутствии жены и свояченицы: «Если бы вы были лошади, то на заводе дорого бы дали за такую пару; вы удивительно паристы, Соня и Таня». Художникам многое прощается. Но вряд ли С.А. была рада прочитать в дневнике своего мужа признание, сделанное через три месяца после их свадьбы: «В Таню всё вглядываюсь». И еще через три дня: «Боязнь Тани – чувственность».

Татьяна Андреевна Кузминская не была счастлива в семейной жизни. Едва ли не главной причиной этого стали Толстые. Уж очень они были интересные, харизматичные мужчины, рядом с которыми все прочие как-то меркли. Л.Н. был Толстым № 1. И он выбрал Соню. Но был еще его замечательный старший брат, Сергей Николаевич, в которого и влюбилась Таня на следующий год после свадьбы сестры, когда сама стала девушкой на выданье. Однако Сергей Николаевич, послуживший прототипом Андрея Болконского, в реальной жизни был связан с цыганкой Машей, жил с ней в Пирогово и имел незаконных детей. Влюбившись в Таню («Подарила нищему миллион», – говорил он о ее любви), он всё-таки не решился оставить Машу и детей, измучил обеих своими «ни да, ни нет» и, наконец, остался жить с цыганкой, поступив по отношению к ней как порядочный человек, но, по сути, подстрелив Таню в самый важный момент ее девического взлета.

Часто посещая Берсов и проговорившись сестре о том, что хотел бы найти жену в этой семье, Толстой дал Лизе повод надеяться, что этой женой станет она. Две сестры, гувернантки Берсов и Марии Николаевны, по очереди «стали напевать Лизе о том, как она нравится Льву Николаевичу». В свою очередь, Мария Николаевна «напевала» брату, какая прекрасная жена выйдет из Лизы. Уж очень она хотела его женить!

Лиза сначала относилась к этому равнодушно, но потом, по словам Татьяны, «в ней заговорило не то женское самолюбие, не то как будто сердце... Она стала оживленнее, добрее,

обращала на свой туалет больше внимания, чем прежде. Она подолгу просиживала у зеркала, как бы спрашивая его: „Какая я? Какое произвожу впечатление?“ Она меняла прическу, ее серьезные глаза иногда мечтательно глядели вдаль».

Таня ей сочувствовала, Соня посмеивалась над ней. Она знала, что в соперничестве со старшей сестрой женское обаяние и привлекательность на ее стороне. В нее уже влюблялись четырнадцатилетние мальчики и тридцатипятилетние мужчины, приходившие в хлебосольный дом Берсов. Был забавный случай, который произошел в Покровском. К Берсам приехали их друзья Перфильевы и с ними четырнадцатилетний Саша, «недоразвитый, наивный мальчик». «Он сидел около Сони, – пишет Кузминская, – всё время умильно глядя на нее. Вдруг взяв рукав ее платья, он стал усиленно перебирать его пальцами. Соня конфузливо улыбалась, не зная, что бы это значило.

– Pourquoi touchez la robe de m-lle Sophie?⁵ – послышался вдруг резкий голос Анастасии Сергеевны, матери Саши.

– Влюблен.

Все дружно засмеялись, и все взоры обратились на Соню, более смущенную, чем ее обожатель».

Ничего подобного не могло произойти с Лизой. Вот и тридцатипятилетний профессор Нил Александрович Попов, «степенный, с медлительными движениями и выразительными серыми глазами» мужчина, тоже влюбился в Сонечку. И еще – учитель русского языка Василий Иванович Богданов, которому в результате пришлось отказаться от дома. И сын придворного аптекаря. И сын знаменитого партизана и поэта Дениса Давыдова. И еще Янихин, сын известного акушера.

В Соне было что-то такое, что притягивало к ней мужчин всех возрастов. Это «что-то» называется одним словом «женственность». Это было сочетание живого характера, мгновенной грусти и рано проявившегося материнского инстинкта. Сонечка была женщиной *par excellence*. Она была прекрасной артисткой в домашнем театре и могла изображать даже мужчин, тонко чувствуя их характерные слабости.

«Лиза всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам, – писала Кузминская. – Маленькие дети, их кормление, пеленки – всё это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку. Соня, напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах».

В то же время в Соне была черта, которая насторожила бы другого мужчину, но которая не могла не привлечь Толстого с его сновидческими представлениями об Идеальной Жене.

«Она имела очень живой характер, – пишет Кузминская, – с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастьем, чем баловала ее юная жизнь... Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей всё казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему... Отец знал в ней эту черту характера и говорил: „бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива“».

Но только такой комплексный характер мог вполне удовлетворить Толстого. Не забудем, что в это время, да и потом всю жизнь он очень увлекался музыкой. В Соне была «музыкальность»! Нет, со слухом и исполнительским талантом у нее как раз были определенные проблемы. Но «музыкальность» была в самой ее природе, поступках, оттенках настроений.

Вот как будто ничего не значащий случай, который, однако, выразительно рисует «расстановку сил» в милой троице в глазах Л.Н. Покровское, весна. Лиза, Соня, Таня, их брат Петя отправились гулять с Л.Н., профессором Поповым и учителем французского Жоржем Пако.

⁵ Зачем ты трогаешь платье Софи? (фр.)

По своей привычке, Толстой повел всех неизвестной тропой, и скоро на их пути возник не то ручей, не то глубокая лужа. Что делать? Таня прыгает Л.Н. на закорки, и он переносит свою «мадам Виардо», как он шутливо называл ее за прекрасный голос, на ту сторону. Лиза степенно переходит ручей, приподняв платье, по сучьям, которые принес Пако. Танечка смотрит на нее и думает: «Ведь вот никто не предложит перенести ее. Отчего? Она совсем другая». А Соня? Ей предлагает услуги Попов.

– Софья Андреевна, вы не решаетесь и ищите место для перехода. Я помогу вам, перенесу вас.

– Нет! – закричала Соня, вся покраснев и, видимо, испугавшись его намерения. Она сразу шагнула в воду и быстро, с брызгами во все стороны, перебежала ее.

«Попов без чутья, – замечает про себя Танечка, – нельзя нести Соню – она большая, а он хотел, как Лев Николаевич. Меня можно».

Казалось бы, какой из этого можно сделать вывод? Никакого. Но, однако же, перед тем как лечь спать, Соня с Таней (без Лизы, та – в стороне) горячо обсуждают это «событие». И вдруг оказывается, что это «событие» взволновало и Толстого.

– Он очень одобрил меня, что я не позволила Попову перенести себя, – сказала Соня. – Я это самое и ожидал от вас, сказал он мне. Потом расспрашивал, что я делала за всё это время и чем увлекалась.

Есть вещи, которые нельзя объяснить. Например, почему все аргументы «за» для Толстого были на стороне Сони, а все аргументы «против» – на стороне Лизы. Маленькая Танечка это хорошо понимала. Поэтому она была «в игре», а Лиза «вне игры».

– Соня, *tu aimes le comte*? – однажды спросила сестру Танечка.

– *Je ne sais pas*⁶, – тихо ответила та, несколько не удивившись.

– Ах, Таня, – немного погодя заговорила она, – у него два брата умерли чахоткой...

Это было начало третьего этапа вхождения Толстого в семью Берсов, который не мог завершиться ничем, кроме женитьбы на Соне.

Толстой еще не влюблен, и Соня еще не влюблена. Вернее, она чуть-чуть влюблена в другого – в кадета Митрофана Поливанова, друга ее брата Саши. «Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный». Соня тайно «помолвлена» с Поливановым, так же как Таня – со своим кузенком Сашей Кузминским.

Это детские, но вполне серьезные и многообещающие связи, которые в иной ситуации (то есть, говоря прямо, при отсутствии Толстого) закончились бы, наверное, удачными семейными романами. Саша Кузминский был родственник и «свой» в семье Берсов. Митя Поливанов, сын генерала императорских конюшен, коим и сам стал впоследствии, больше подходил по своему социальному положению Берсам с их «буржуазной», «аптекарской» родословной. Женитьба Толстого на Соне была всё-таки мезальянсом. Соня не была графиней, и за ней не было ни гроша приданого.

После катастрофы с Сергеем Николаевичем Таня вышла замуж за Кузминского, ставшего судебным деятелем, а затем даже сенатором, но это уже не мог быть счастливый семейный роман. С самого начала их жизнь была отравлена ревностью мужа к Толстым. И не только к Сергею Николаевичу, которого Таня любила всю жизнь, а к Толстым вообще, к самой их слишком выдающейся, талантливой породе, к тому, что его жена была беспредельно влюблена в Ясную Поляну и не мыслила своей жизни без нее, а значит, и без Толстых. К тому, что она уже не могла отделить себя от Наташи Ростово́й.

Соня и Таня догадались о влюбленности графа в Соню раньше своих родителей и Лизы. Любовь Александровна и Андрей Евстафьевич поначалу были уверены, что если граф сделает предложение, то непременно Лизе. По Москве уже ходили слухи о скорой женитьбе Толстого

⁶ – Ты любишь графа? – Не знаю (*фр.*).

на Лизе Берс. А сам Толстой не только не чувствовал себя влюбленным, но и заранее был уверен, что на Лизе никогда не женится.

22 сентября 1861 года он пишет в дневнике: «Лиза Берс искушает меня; но это не будет». После этого он прерывает дневник на полгода и начинает его в мае 1862-го, когда бежит в самарские степи лечиться кумысом. Он в самом деле серьезно болен, худеет, даже «хиреет» на глазах. Призрак чахотки, сгубившей двух его братьев, преследует его, несмотря на заверения А.Е. Берса, что это не чахотка, а только «мокрота в крови».

Но бегство в Башкирию весной 1862 года еще и очень напоминает бегство от Арсеньевой в Петербург. На пароходе Толстой «возрождается к жизни» и «к осознанию ее». «...меня немного отпустили на волю», – пишет он, имея в виду натянутые отношения с Лизой, которая ждет предложения руки и сердца. И вновь, как это было в истории уже с Тютчевой, он почти готов жениться. Но холодно, без любви. «Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой», – пишет он за неделю до того, как сделать предложение Соне. «Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу», – пишет он через два дня, когда его отношение к Соне определилось окончательно: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить».

А Соня? Это уже не та девочка, которая, краснея от стыда и восхищения, прислуживала за столом автору «Детства». Соня вполне отдает себе отчет в том, что граф, возможно, болен чахоткой и может оставить ее вдовой раньше, чем она насладится семейным счастьем. Она уже способна осуждать его пороки: например, игорную страсть.

А Л.Н.? В последние дни перед тем, как сделать Соне предложение, он не спит ночами и страдает ужасно! Толстой впервые боится. Не того, что сделает неправильный выбор, а что ему откажут. Он чувствует себя и невозможно старым, и «16-летним мальчиком». Носит с собой письмо с объяснением в любви, комкает его в кармане в присутствии Сони и не решается отдать. Он готов даже прибегнуть к посредничеству Танечки. Да, я старый, говорит он себе, «но я прекрасен своей любовью». Попросту говоря, сходит с ума. «Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так будет продолжаться».

Разумеется «да»

Нам кажется таким простым и естественным то, что история любви Л.Н. и Сони Берс перешла в роман «Анна Каренина» практически «без редакции». В самом деле, сватовство и женитьба Левина на Кити в мельчайших деталях совпадают с тем, что было между Толстым и Сонечкой.

Но в том-то и величайшая загадка Толстого-художника, непостижимый «фокус» его художественного гения. Каким образом живая жизнь, существенно не изменяясь, перетекает в плоть романа и фиксируется в ней на века? Это такая же загадка, как рождение человека от банального соития, с той разницей, что в случае Толстого мы не видим процесса перехода из одного состояния в другое. Всё происходит вдруг и сразу. Нет границы и ее преодоления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.